



# ЛЕВ ТРОЦКИЙ

## ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ. КУЛЬТУРА СТАРОГО МИРА

Лев Троцкий

**Проблемы культуры.  
Культура старого мира**

«Public Domain»

**Троцкий Л. Д.**

Проблемы культуры. Культура старого мира / Л. Д. Троцкий —  
«Public Domain»,

Настоящий том составлен из двух серий статей о литературе, отделенных друг от друга промежутком в шесть лет. Первая серия включает в себе статьи, печатавшиеся в «Восточном Обзрении» за 1900 – 1902 г.г., вторая серия – статьи, написанные с 1908 по 1914 год.

## Содержание

ОТ РЕДАКЦИИ	5
I. От дворянина к разночинцу	6
Л. Троцкий.	6
Л. Троцкий.	13
Л. Троцкий.	22
Л. Троцкий.	27
Л. Троцкий.	31
Л. Троцкий. О ГЛЕБЕ ИВАНОВИЧЕ УСПЕНСКОМ{31}	36
I	36
II	38
III	40
IV	42
V	44
VI	45
VII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49
Комментарии	

# **Лев Троцкий**

## **Проблемы культуры.**

## **Культура старого мира**

### **ОТ РЕДАКЦИИ**

Настоящий том составлен из двух серий статей о литературе, отделенных друг от друга промежутком в шесть лет. Первая серия включает в себя статьи, печатавшиеся в «Восточном Обозрении» за 1900 – 1902 г.г., вторая серия – статьи, написанные с 1908 по 1914 год.

Материал, относящийся к первому периоду, разбит – с незначительными нарушениями хронологического порядка – на три отдела. Первый отдел «От дворянина к разночинцу» посвящен характеристике некоторых основных тенденций русской общественности и литературы с начала XIX в. до 80-х годов. Второй отдел «Будни» является литературным отражением затишья 90-х годов. Отдел «Перед первой революцией» включает в себя характеристику литературных явлений того периода, когда в поэзии появились декаденты, а в публицистике легальные марксисты.

Вторая половина тома (период 1908 – 1914 г.г.) включает в себя отдел «О Л. Толстом», куда вошли две статьи о творчестве Л. Толстого и некролог о нем, и отделы «Между первой революцией и войной» и «Запад и мы». Статьи, вошедшие в последние два отдела, были напечатаны в сборнике «Литература и революция» за исключением четырех статей: «Нечто об анкетах», «Соблазнительные параллели», «Россия и Европа» и «Масарик о русском марксизме», взятых нами из других источников.

Статья «Франк Ведекинд» первоначально была напечатана в сборнике «Литературный распад», затем с незначительными дополнениями была помещена в «Neue Zeit», статьи же о Толстом были напечатаны в «Neue Zeit» в 1908 году и даны здесь в переводе с немецкого языка.

В работе над томом большую помощь оказал И. Б. Румер, которому редакция выражает свою благодарность.

## **I. От дворянина к разночинцу**

**Л. Троцкий.**

**В. А. ЖУКОВСКИЙ (1783 – 1852)**

Пятьдесят лет тому назад, 12 апреля 1852 г., в Баден-Бадене умер Василий Андреевич Жуковский, – по собственному определению – «родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских».

Предание говорит, что помещик Бунин сказал, прощаясь со своими крепостными, отправлявшимися в румянцевский поход против турок: «Привезите мне хорошенькую турчанку; жена моя совсем состарилась». Это было сказано «в шутку», но принято «всерьез»... а 29 января 1783 года от этой «шутки» уже появился на свет божий В. А. Жуковский. Доброе старое время!

Жуковский приспособил к русскому климату немецких и английских чертей – и тем насадил в России романтизм. В чем смысл этой заслуги? Что такое романтизм?

Истерзанное слово! Оно напоминает старый мешок, который в процессе литературно-исторической эволюции наполнялся все новым и новым содержанием и лопнул в конце концов от переполнения.

Вспомните. Романтизм был тимпанами и кимвалами, славившими человеческое я, освобожденное Великой Революцией из кандалов «старого порядка» – и романтизм был литературным убежищем идейной реакции, знаменем попятного призыва к готическим соборам, рыцарским турнирам, крепостному праву и властному папизму.

Романтизм был рупором для «демонических натур», через который они бросали проклятиями в эту несчастную, глупую и пошлую землю и посылали вызов небесам, – и он же, романтизм, изнывал в слезливой, беспредметной тоске, расплывался в гимнах фантастическому «голубому цветку» и гордился маразмом мысли и воли.

Романтизм! Он состоял в услужении у Меттерниха<sup>1</sup>, облаченный в австрийские ливреи немецких романтиков<sup>2</sup>, и он же был непримиримым политическим изгнанником вместе с Виктором Гюго<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Князь Меттерних (1773 – 1859) – австрийский дипломат и министр, один из наиболее влиятельных государственных деятелей эпохи европейской реакции 1815 – 1848 г.г., наступившей после низложения Наполеона I. Крайний сторонник абсолютизма и ожесточенный противник французской революции и всех вызванных ею революционных течений в Европе, он в течение тридцати с лишним лет играл роль злого гения Европы, подавляя всякие попытки освобождения как политического, так и национального. Решения Венского Конгресса, происходившего в 1814 – 1815 г.г. и созванного державами, которые принимали участие в борьбе с Наполеоном для водворения в Европе нарушенного революцией «законного порядка», были плодом его искусной политики и исключительного влияния на Конгресс, председателем которого он был. Преследуя цели реставрации, Венский Конгресс перекроил карту Европы соответственно династическим интересам европейских монархов, в полном противоречии с интересами нарождавшейся буржуазии. Германия и Италия остались по-прежнему разделенными на мелкие государства; Ломбардия и Венецианская область были присоединены к Австрии. Для закрепления порядка, созданного решениями Венского Конгресса и для предупреждения возможных революций, европейскими монархами, по инициативе Александра I, был образован так называемый «Священный Союз», прикрывавший свои истинные цели очень туманной религиозно-мистической фразеологией. С помощью этого Союза Меттерних поддерживал в Европе систему абсолютизма, силой оружия подавлял революционное движение в Италии и Испании и всем своим влиянием воспротивился оказанию помощи Греции, восставшей против турецкого ига. В 1819 г. деятельный сторонник Священного Союза, немецкий драматург Коцебу, был убит студентом Зандом. Убийство это явилось ответом национально настроенной прогрессивной молодежи Германии на травлю и насмешки Коцебу над ее патриотизмом. Это событие Меттерних использовал – через Франкфуртский союзный сейм – для того, чтобы подавить в Германии движение молодежи, задуть печать, закрыть многие общества и учредить надзор за университетами. С революционным движением 1830 г., возникшим в Германии, как отзвук июльской революции во Франции, Меттерниху тоже удалось справиться – около 2.000 человек было предано суду, – и только революция 1848 г. заставила его подать в отставку и бежать из Австрии.



Чем только не был он, романтизм?

Свободолюбивый и холопский, боевой и квиетический, передовой и реакционный, свободомыслящий и ортодоксальный, титанически-сильный и детски-слезливый, романтизм сохранял во всех своих превращениях только одну общую черту: он жил или хотел жить жизнью чувства, а не рассудка, он стремился освободить темные, неопределенные и бессознательные силы психики из горячечной рубашки, которую мысль торопится набросить на стихийные порывы души. Его путеводителем были не законы резонирующего разума, но блуждающие огни разнузданной мистики чувства. «Иссушающему» рационализму он противопоставил сорвавшуюся с петель фантазию. Может быть, наиболее ярко эта черта романтизма выражена у немецкого поэта Гельдерлина<sup>4</sup>: «О, человек – бог, когда он грезит, и нищий, когда он мыслит».

Романтизм как стихия «грез» был, разумеется, субъективен насквозь, до сердцевины. В конце концов он уставал от разнузданности собственного субъективизма, пресыщался его дикими причудами и, в качестве блудного сына, искал успокоения на груди католицизма. Забегая вперед, заметим, что Жуковский был застрахован от слишком бурной качки духа, так как никогда не выходил из-под власти догмата.

<sup>2</sup> Речь идет о немецких патриотических писателях эпохи войны за освобождение Германии от владычества Наполеона. Первым выступил Арндт (1769 – 1860), поэт и профессор всеобщей истории в Грейфсвальде, издавший в 1806 г. книгу «Дух времени» (*Der Geist der Zeit*), проникнутую патриотическим духом и переполненную ожесточенными нападками на французов. Кроме того, Арндт написал много воинственных песен, чрезвычайно популярных в свое время. В 1812 г. появилась патриотическая трагедия «*Zriny*», написанная молодым поэтом-романтиком Кернером (1791 – 1813). Кернер принимал непосредственное участие в войне за освобождение и был убит в 1813 г. Уже после его смерти был издан сборник его стихотворений под названием «Меч и Лира». Другой молодой поэт Шенкендорф (1783 – 1817), также непосредственный участник войны 1813 г., призывал в своих стихотворениях к восстановлению германской империи. Наконец, Рюккерт (1788 – 1866), впоследствии известный переводчик восточных поэтов, выступил впервые в 1814 г. со сборником патриотических стихотворений. Все эти писатели с надеждой смотрели на Меттерниха, возглавлявшего в то время противонаполеоновскую политику Австрии, которая одна из всех германских государств сохранила независимость, так как Пруссия была оккупирована наполеоновскими войсками, а все остальные государства вошли в Рейнский союз, фактически ставший вассалом Наполеона. Немецкие патриоты ждали, что поражение Наполеона приведет к восстановлению национального единства Германии. Как известно, политический курс, взятый Меттернихом после поражения Наполеона, принес им жестокое разочарование. Арндт испытал на самом себе действие реакционного режима Меттерниха: в 1820 году он был обвинен в «демагогическом» образе действий и лишен кафедры.

<sup>3</sup> Виктор Гюго (1802 – 1885) – знаменитый французский поэт, драматург, романист и глава французской романтической школы. Складывавшийся в эпоху Великой Французской Революции, романтизм сам выковывал свои новые формы в пылкой борьбе с классицизмом – этим, по выражению Гюго, «старым порядком», деспотическая власть которого тяжело угнетала литературу. Сам поэт так определяет свою роль и значение в создании нового направления во французской поэзии. «Я, – говорит Гюго, – провозгласил слова свободными, равными, совершеннолетними». До него «ода ходила с кандалами на ногах, драма томила в каземате»; он «приступом взял и разрушил бастилию рифм». «Я знал, что разгневанная рука, освобождающая слово, вместе с тем освобождает и мысль»... «Благодаря тебе, о святой прогресс, революция трепещет теперь в голосе, в книге, где читатель чувствует ее жизнь в живом слове». Первыми произведениями Гюго, в которых вполне определилось романтическое направление, были драма «Кромвель» (1827) и сборник стихов «Восточные мотивы» (1829. *Les Orientales*). С этого времени до 1851 г. Гюго выпустил целый ряд лирических сборников, драм, повестей и романов. Самым крупным произведением этого периода является роман «Собор Парижской Богоматери», с большой яркостью воссоздающий французскую жизнь конца средневековья. С революции 48 года начинается участие Гюго в политической жизни Франции. В 1848 г. он был избран в члены Учредительного, а в следующем году – в члены Законодательного Собрания, где принадлежал к республиканской партии. Гюго принимал самое деятельное участие в сопротивлении государственному перевороту 52-го г. и сражался на баррикадах. После переворота он был объявлен вне закона, и за голову его была назначена награда. Гюго бежал из Франции и провел в изгнании 18 лет. В этот период он издал гневный памфлет против Наполеона III «Наполеон Малый» (*Napoleon le Petit*) и сборник политических стихотворений «Кары» (*Les Chatiments*), а также несколько лирических сборников и романы «Отверженные» и «Труженики моря», создавшие ему славу одного из лучших европейских писателей. В 1870 г., во время франко-прусской войны, Гюго вернулся в Париж и был избран в Национальное Собрание, но сложил с себя звание депутата, когда в Национальном Собрании победили сторонники мира. Во время Парижской Коммуны Гюго находился в Брюсселе, где выступал в защиту коммунаров. Событиям 70-го г. он посвятил сборник стихов под названием «Ужасный год». Последние 14 лет своей жизни Гюго провел в Париже. Здесь в 1874 г. им был издан его последний роман «1793 год», изображающий события французской революции.

<sup>4</sup> Гельдерлин (1770 – 1843) – немецкий поэт-романтик. В самом крупном своем произведении, романе «Гиперион», Гельдерлин рисует идеал прекрасной гармонической жизни и ищет его воплощения в древней Греции – родине его героев. Лирические стихотворения Гельдерлина проникнуты глубокой любовью к природе, отличаются музыкальностью и тонким использованием античных размеров.

Но что собственно представлял собою романтизм Жуковского?

«Это – желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон; жалоба на несовершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастье, которое, бог знает, в чем состояло; это – мир, чуждый всякой действительности, населенный тенями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тем не менее неуловимыми; это – уныло, медленно текущее, никогда не оплачивающееся настоящее, которое оплакивает прошедшее и не видит перед собой будущего; наконец, это – любовь, которая питается грустью и которая без грусти не имела бы чем поддержать свое существование».

Об этой поэзии можно сказать стихами Гете:

Es sauget jedes zartliche Gemuthe  
Aus seinem Werk sich melanchol'she Nahrung"<sup>[1]</sup>

Свойствами духовной натуры Жуковского и условиями общественной среды объясняется исключительное предпочтение, которое поэт отдавал немецкому романтизму: последний отличается от французского полным преобладанием психологического содержания над общественным. Вместе с немецкими романтиками Жуковский подслушивает «дольней лозы прозябанье», созерцает странствование душ, освободившихся от телесной скорлупы, сплетает хоромы из прозрачных русалок и скелетов в черных плащах, – суровая же действительность совершенно не входит в его художническое поле зрения. Искусство тут служит средством не улучшения жизни, но малодушного бегства из нее...

Подобно немецким романтикам, Жуковский поэтизировал пиетистскую идею предопределения, естественно освобождающую человека от необходимости критически мыслить и деятельно бороться и оправдывающую общественное безразличие и мечтательную апатию.

Созерцательный романтизм, развивая свое внутреннее содержание, естественно дошел до той пропасти духа, которая именуется индийской нирваной<sup>5</sup>, дошел – и не испугался ее... Верный немецким учителям, Жуковский тоже отдал дань романтического уважения Индии в своем переводе отрывка из Магабгараты<sup>6</sup> («Наль и Дамаянти»).

В европейском романтизме были боевые освободительные ноты, ведшие свое начало от принципов 1793 года. Этих нот мы и со свечой не сыщем в поэзии Жуковского. Трудно сказать, кто тут более виновен: пиетистски бесстрастная натура поэта, искавшая мира и только мира, или общественные условия, которые немецкого Sturm-поэта Клингера<sup>7</sup> сделали у нас генера-

<sup>5</sup> Понятие Нирваны (санскритское слово, означающее исчезновение, угасание) связано с буддийским представлением о смерти, как о блаженном небытии. По буддийскому учению, Нирвана может быть достигнута при жизни путем преодоления страстей и «жажды» – воли к жизни. Идея Нирваны, как конечной высшей цели человеческого существования, была воспринята философией Шопенгауэра (см. прим. 59).

<sup>6</sup> Магабгарата (Великая война Бгарата) – древний индийский эпос, повествующий о кровавой расправе двух линий царского рода Бгарата. Основное ядро этого эпоса составляют песни царских бардов. В течение веков, путем последовательных наслоений, Магабгарата превратилась в обширный свод индийской поэзии, религии и морали и отразила в себе взгляды и интересы разнообразных групп индийского народа в различные эпохи его истории. Время окончательного зафиксирования текста поэмы в его нынешнем виде можно определить только весьма приблизительно: оно относится к периоду с IV века языческой эры до IV века нашей эры. Отрывок Магабгараты, переложенный Жуковским на основании немецкого перевода Рюккерта под заглавием «Наль и Дамаянти», представляет собой один из наиболее известных эпизодов эпоса, рисующий самоотверженную преданность Дамаянти разлученному с нею злыми силами мужу, с которым она, в конце концов, соединяется, преодолев все препятствия.

<sup>7</sup> Клингер, Максимилиан (1752 – 1831) – немецкий поэт-драматург, один из представителей «трагического сентиментализма», который господствовал в Германии в конце XVIII столетия и был непосредственным предшественником романтизма. В этом движении, получившем название «бури и натиска» (Sturm und Drang) по заглавию одной из наиболее известных драм Клингера, нашли себе в Германии отклик политические и литературные брожения второй половины XVIII века. В нем отразились прежде всего идеи Руссо, его неудовлетворенность действительностью, протест против нее во имя свободной личности, культ природы и первобытного состояния, идеалы свободы и равенства. На нем видно и влияние английской литературы того времени, так называемой мещанской драмы и сентиментального романа, искавших трагических сюжетов в повседневной жизни. Одной из наиболее характерных черт этого направления в Германии было стремление к оригинальности, к освобождению



лом и начальником воспитательного корпуса, наложившим строжайшую цензуру на свои собственные сочинения для кадетов.

Но если Жуковский не усвоил своей поэзии протестующего духа некоторых западно-европейских романтиков, зато он оказался вполне солидарным с немецкими носителями «гемюта»<sup>[2]</sup> в прозаической области отношений к высшим сферам. Но к чести Жуковского нужно сказать, что он не лицемерил, – этого не скажешь столь категорически относительно его немецких единомышленников.

Нельзя сомневаться в искренности чувства, которое руководило поэтом, когда он писал, напр., «Певца во стане русских воинов» – произведение, более благонамеренное, чем поэтическое. Как художественны в самом деле эти русские солдаты в классических костюмах, в шлемах, латах, со щитами в руках! Такова уж, видно, судьба той «поэзии», которая комментирует иллюминации, рапорты и реляции...

Всю свою жизнь Жуковский прожил в оранжерейной атмосфере. Что делается вне ее, на вольном воздухе, он не знал, ибо в ее рамках, как в окнах готических соборов, были непрозрачные цветные стекла, создававшие внутри оранжереи вечный меланхолический полумрак.

Там, за стеклянными стенами, издыхающее крепостное право, как потухающая лампа, вспыхивает особенно яркими огнями зверства и насилия. Там – стон, там – скрежет зубовой.

А здесь, в декоративно-причудливой обстановке романтической теплицы, – томление по «былом», которого не было, стремление к «будущему», которого не будет, тоска по неземному и полувздохи под аккомпанемент Эоловой арфы...

И во всю жизнь, во всю долгую жизнь Жуковского, кошмары крепостного права не тревожили его поэтического полусна. И тем удивительнее в Жуковском этот романтический квиетизм, эта неподвижность общественного мышления, что впечатления собственного детства должны были принудительно навязать сознанию поэта критическую работу: мать Жуковского, пленная турчанка, жила в доме Бунина рабыней и не смела садиться при «господах», к которым принадлежал и ее собственный сын... Ласкать его она могла лишь тайно, урывками... Кажется, достаточно выразительная иллюстрация нравов?

Крепка, значит, была броня гражданского равнодушия, которою судьба облачила «чувствительную» душу балладника!

Биограф Жуковского, говоря о его литературной деятельности, употребляет – очевидно ненароком, по шаблону – слово «подвижничество». Вот уж действительно трудно подыскать другое определение, которое бы менее подходило к литературной физиономии Жуковского!

Сам поэт, вероятно, отмахнулся бы от такого определения. По крайней мере, рассказывая о своем представлении императрице, он с похвальной искренностью прибавляет: «Я не струсил; желудок мой был в исправности, следственно, и душа в порядке»... Это признание насчет прямой зависимости романтической души от прозаического желудка не нужно считать лишь «цинической» шуткой: несомненно, душа, столь старательно отгородившая себя от общественных внушений и черпающая свои настроения единственно «из себя», рискует утратить свою «независимость» и попасть в кабалу к желудку.

Мы, разумеется, совсем не подвергаем сомнению личной доброты и жалостливости поэта; известно, что возвратившись в 1822 году из-за границы, Жуковский отпускает на волю крепостных, приобретенных для него книгопродавцем Поповым, и в одном письме выражает удовольствие по поводу того, что его «эсклавы»<sup>[3]</sup> получили волю. Остается, однако, несомнен-

---

дению от всяких правил, к свободному непосредственному творчеству. Произведения этой школы полны изображений сильных чувств, бурных необузданных порывов, титанических, неопределенных стремлений с яркой демократической окраской. В политически отсталой Германии того времени поэзия была единственной областью, где свободные стремления и демократический протест могли найти свое выражение. Ранние произведения двух величайших немецких поэтов Гете (см. прим. 13) и Шиллера (см. прим. 12) представляют собой наиболее талантливые образцы литературы «бури и натиска».

ным тот факт, что никаких общественных выводов по поводу «эскавов» Жуковский не сделал – потому ли, что не умел, или не хотел...

В «Записках кн. Трубецкого»<sup>8</sup> сохранился интересный факт, превосходно характеризующий гражданское настроение Жуковского. «Законоположение» (устав) тайного «Союза Благоденствия»<sup>9</sup>, преследовавшего цели «общего блага», было показано поэту, разумеется, с предложением вступить в сообщество. Возвращая «Законоположение», Жуковский сказал, что «устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, для выполнения которой требуется много добродетели, и что он счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но что, к несчастью, он не чувствует в себе достаточной к тому силы»<sup>[4]</sup>.

Как он здесь похож на себя, наш мечтательный романтик, со своим платоническим уважением к добродетели и со своей социальной пассивностью. Противопоставьте этому романтическому индифферентизму голос истинного гражданского мужества... "я не считал себя вправе следовать примеру моего друга поэта (В. А. Жуковского), – говорит Н. И. Тургенев<sup>10</sup>, – я думал, что всякий честный человек должен отложить в сторону неважные соображения относительно формы, не обращать внимания на личные неудобства и даже опасности, если он может по мере сил содействовать делу нравственному и полезному"<sup>[5]</sup>.

А вот как отзывался о Жуковском другой гражданин, Рылеев<sup>11</sup>. «К несчастью, – говорит он в письме к Пушкину, – влияние его на дух нашей словесности было слишком пагубно; мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали!».

Все, что сказано выше, почти не затрагивает чисто литературных заслуг поэта, которые очень велики. Не должно забывать, что Жуковский раз навсегда освободил русскую «словесность» из дисциплинарного батальона ложноклассицизма и внес много нового содержания в обиход литературы. На Западе романтизм XIX ст. был поэтическим переживанием историче-

---

<sup>8</sup> «Записки князя Трубецкого». – Князь Сергей Петрович Трубецкой (1790 – 1860), полковник, член Северного Общества, управлял его делами вместе с Н. М. Муравьевым и кн. Оболенским, был назначен в диктаторы; во время подготовки восстания 14 декабря 1825 г. находился в Петербурге, но не оправдал своим поведением возлагавшихся на него надежд и личного участия в восстании не принимал. Был присужден к пожизненным каторжным работам, но в результате сокращения срока наказания и в силу амнистии от 26 августа 1856 г. был восстановлен в правах дворянства и получил разрешение поселиться в Киеве. Умер в Москве в 1860 г.

<sup>9</sup> Союз Благоденствия – был основан в 1818 г. вместо распавшегося Союза Спасения или Истинных и Верных Сынов Отечества. Его основателем были будущие декабристы – братья Муравьевы-Апостолы, Якушкин, Лунин, Трубецкой и др. В основу «законоположения» Союза был положен устав прусского умеренно-либерального общества «Союза Добродетели» («Тугендбунда»), созданного в Пруссии в 1808 г. для поднятия патриотизма в народе и свержения французского владычества. Союз Благоденствия ставил своей целью уничтожение крепостного права и военных поселений, сокращение срока военной службы и облегчение ее тягот, установление равенства граждан перед законом и введение конституционного образа правления. Союз закрылся в 1821 г. Вместо него в 1822 г. Пестелем было организовано Южное Общество, а несколько позже образовалось Северное. Деятельность этих обществ привела непосредственно к восстанию 14 декабря.

<sup>10</sup> Тургенев, Николай Иванович (1789 – 1871) – сын известного масона, член Союза Благоденствия. Во время восстания 14 декабря находился в заграничном отпуску и, осужденный заочно на каторжные работы, оставался эмигрантом за границей до 1857 г. В 1818 г. напечатал «Опыт теории налогов», заключавший в себе проект финансовых реформ, затрагивавших отчасти крепостное право. В 1815 г. он подал Александру I записку о крепостном праве, – проект освобождения крестьян без земли. В 1847 г. напечатал за границей книгу «La Russie et les Russes» (Россия и русские). Книга эта, требовавшая уничтожения крепостного права и изменения государственного строя в России, является довольно полным выражением русского политического либерализма того времени. По возвращении в Россию Тургенев принимал деятельное участие в обсуждении вопроса об отмене крепостного права.

<sup>11</sup> Рылеев, Кондратий Федорович (1795 – 1826) – поэт-декабрист, член Северного Общества, один из наиболее активных участников декабрьского восстания. Как поэт, он был известен своими «Думами» и историческими поэмами «Войнаровский», «Наливайко» и др. Его лирические стихотворения представляют собой в русской литературе первые образцы гражданской поэзии. Рылеев был казнен вместе с Пестелем, Каховским, Бестужевым-Рюминым и С. Муравьевым-Апостолом 13 июля 1826 г.

ского опыта средних веков. Но мы, русские, проходили свою историю, так сказать, по сокращенному учебнику. Мы не знали ни рыцарства, ни крестовых походов, ни готических соборов. Усвоив нашей литературе романтическое направление, Жуковский обогатил наше сознание теми идейными элементами, которые были завещаны Западной Европе эпохой феодализма и католицизма. Таким образом, Жуковский не просто переводил Шиллера<sup>12</sup>, Гете<sup>13</sup>, Грея<sup>14</sup> и Вальтер-Скотта<sup>15</sup>, – нет, он сделал нечто большее: он «перевел» на русский язык европейский романтизм. Нужно быть ему за это благодарным.

Брандес<sup>16</sup> безусловно прав, когда говорит, что романтика была и осталась, по преимуществу, поэзией салонов, и идеалом ее было остроумное общество, собравшееся на эстетический «чай», – но в атмосфере этого салона она была живым делом, шла от души к душе, выражала и будила интимные чувства... «Жуковский первый на Руси, – говорит Белинский, – выговорил

<sup>12</sup> Шиллер, Фридрих (1759 – 1805) – великий немецкий поэт, создавший вместе с Гете классическую школу в немецкой литературе, начал свою поэтическую деятельность в эпоху «бури и натиска» (см. прим. 7). К этому периоду относятся его первые драматические произведения (1781 – 1787): «Разбойники», рисующие образ благородного разбойника, бросающего вызов развращенному обществу, республиканская драма «Заговор Фиэско» и мещанская драма «Коварство и Любовь». Историческая драма «Дон Карлос» является завершением этого течения в творчестве Шиллера. Здесь в образе маркиза Позы воплощены смутные порывы и возвышенные идеи «бури и натиска». Все эти произведения отличаются большой страстностью поэтического темперамента и глубоким личным чувством.

<sup>13</sup> Гете, Вольфганг (1749 – 1838) – величайший немецкий поэт. Первые произведения Гете, драма «Гец фон-Берлихинген» и роман в письмах «Страдания молодого Вертера», поставили его во главе течения «бури и натиска». Однако, этот период закончился для Гете еще раньше, чем для Шиллера. «Туманные неясные республиканские идеалы периода бурных стремлений... скрылись перед внезапным зрелищем переворота у соседей!». Политическая отсталость Германии того времени, ее общественная разрозненность, отсутствие крупных объединяющих культурных центров породили отвращение от действительности и культ искусства, в котором находили средство освобождения от реальности, ухода от нее в область созданного фантазией идеального мира. Но и в самом искусстве отсутствие живого, захватывающего, достойного художественной обработки материала вызвало повышенный интерес к чисто формальным задачам, к процессу творчества, к художественной технике произведений. К этому присоединилось еще увлечение античным миром, древней Грецией, как родиной идеальной красоты и искусства. Этими тремя чертами – уходом от действительности (олимпийством), возвеличением искусства и культом античности – определяется классицизм, литературное направление, созданное Гете и Шиллером в зрелый период их творчества. К эллинистическим произведениям Гете относятся драмы «Ифигения» и «Тассо», «Римские элегии» и небольшая эпическая поэма «Герман и Доротея». Одно из стихотворений эллинистического характера «Путешественник и поселенка» переведено Жуковским. Им же переведена и знаменитая баллада «Лесной царь». Величайшее произведение Гете, драматическая поэма «Фауст» писалась им в течение всей его жизни и отражает в себе весь пройденный им путь. «Фауст» был задуман Гете в ранней молодости и в первой его части отразилась еще эпоха бурных стремлений, закончен же он был лишь в последние десятилетия жизни Гете. В «Фаусте» наиболее полно выразилось все, что занимало и волновало современников Гете – людей, стоявших на рубеже XVIII и XIX века.

<sup>14</sup> Грей, Томас (1716 – 1771) – известный английский поэт, автор «Элегии на сельском кладбище», переведенной на все европейские языки и доставившей поэту широкую известность. На русский язык она была переведена Жуковским и явилась одним из первых произведений нового романтического направления в русской поэзии.

<sup>15</sup> Вальтер Скотт (1771 – 1831) – знаменитый английский романист и поэт. Его исторические романы соединяют в себе важнейшие элементы романтизма: интерес к родной старине и народному творчеству, к патриархальному быту и цельному, непосредственному чувству, любовь к сильным страстям и стойким характерам. Все это Вальтер Скотт нашел воплощенным в шотландском средневековьи. Он начал с трехтомного сборника, в котором было помещено несколько оригинальных баллад и множество обработок южно-шотландских сказаний. Затем последовала серия поэм, воспевавших в романтическом духе рыцарский быт старинной Шотландии. Кое-что из этих поэм переведено на русский язык Жуковским. Наиболее знамениты исторические романы Вальтера Скотта, в которых изображаются выдающиеся драматические моменты шотландской, английской и общеевропейской истории и дана широкая и захватывающая картина прошлого. Лучшие из них: «Айвенго», «Веверлей», «Квентин Дорвард».

<sup>16</sup> Брандес, Георг (род. в 1842) – датский критик и историк литературы. Брандес начал свою литературную деятельность выступлением в защиту свободного научного исследования против господствовавшей в Дании школы Нильсена, стремившейся примирить ортодоксальный протестантизм с новыми идеями. После нескольких лет пребывания за границей Брандес стал читать в Копенгагенском университете курс «О главных течениях европейской литературы XIX века». Этот курс лег в основу его главного шеститомного труда под тем же заглавием, доставившего ему европейскую известность и оказавшего большое влияние на его соотечественников. Как позитивист и радикал, Брандес должен был выдержать упорную борьбу со своими реакционными противниками, препятствовавшими распространению его влияния. Кроме «Главных течений в европейской литературе XIX века» Брандесом написано большое количество литературных характеристик. Важнейшие из них: «Шекспир», «Датские поэты», «Фердинанд Лассаль», «Бьернсон и Ибсен», «Аристократический радикализм» (о философии Ницше). Как литературный критик Брандес принадлежит к исторической школе. В своем главном труде он дает широкую картину общественных движений, на почве которых возникали литературные течения.

элегическим языком жалобы человека на жизнь». До него наша поэзия представляла риторические иллюстрации к ложно-классическим схемам. Жуковский впервые связал поэзию с жизнью индивидуальной души. Пушкин и, особенно, Гоголь повели это дело дальше: они связали литературу с жизнью души коллективной, т.-е. общества.

Жуковский не дал своего имени никакому литературному периоду, он стоит посредине между эпохами Карамзина<sup>17</sup> и Пушкина: закончив работу одного, он подготовил почву для другого. Белинский говорит, что без Жуковского мы не имели бы Пушкина. Это страшно много, и нужно уметь быть за это благодарным.

«Восточное Обозрение» N 89, 19 апреля 1902 г.

---

<sup>17</sup> Карамзин, Николай Михайлович (1766 – 1821) – русский писатель и историк. В начале 90-х годов XVIII столетия Карамзин начал издавать «Московский Журнал», сыгравший большую роль в развитии литературных интересов и вкусов русского образованного общества того времени. Этот журнал почти целиком заполнялся произведениями Карамзина. Здесь были помещены «Письма русского путешественника» – путевые впечатления из поездки Карамзина по Германии, Швейцарии, Франции и Англии. «Письма» содержат много описаний природы и большой материал для характеристики культурной жизни европейских стран. Глубокое преклонение перед западной культурой, которым проникнуты «Письма», имело большое воспитательное значение для того времени. В том же журнале были помещены и две повести Карамзина «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь», в которых очень ярко отразилось господствовавшее тогда на Западе сентиментальное направление в литературе. «Бедная Лиза» имела огромный успех и вызвала много литературных откликов и подражаний. В этой повести, несмотря на всю условность ее образов, было некоторое приближение к жизненной правде, произведшее сильное впечатление на читателей. Наибольшая заслуга Карамзина заключается в проведенной им реформе литературного языка. Он освободил русский литературный язык от славянизмов и длинных периодов латинско-немецкой конструкции, приблизил его к разговорному и оживил большим количеством новых слов и выражений, отчасти созданных им самим, отчасти перенесенных им из старинных литературных памятников, которые ему приходилось изучать в качестве историка. Общественные взгляды Карамзина отличаются большими противоречиями, свойственными большинству образованных русских людей его времени. Увлечение свободолобивой проповедью Руссо соединялось у Карамзина с довольно откровенным крепостничеством.

## Л. Троцкий. Н. В. ГОГОЛЬ (1852 – 1902)

Теперь, через пятьдесят лет после смерти Гоголя, который из опального писателя успел давно уж превратиться в признанную и одобренную «славу русской литературы» и получить официальное, утвержденное кем следует, посвящение в «отцы реальной школы», – теперь писать о Гоголе в беглом фельетоне значит делать автора «Мертвых душ» безответной жертвой нескольких общих мест и банально-панегирических фраз. О Гоголе в настоящее время нужно писать книги или ничего не писать. В представлении каждого среднего русского читателя к имени Гоголя присосался некоторый цикл понятий и суждений: «великий писатель», «родоначальник реализма», «несравненный юморист», «смех сквозь слезы»... – так что стоит назвать имя Гоголя, чтобы оно явилось в сознании, окруженное немногочисленной, но верной свитой этих определений. Поэтому газетная юбилейная статья скажет читателю, пожалуй, не более чем голое имя писателя, которому она посвящена.

К чему же и писать ее? – спросит читатель.

На это можно дать несколько ответов. Во-первых, как не помянуть, хотя бы и банальными речами, великого писателя – сегодня, когда его произведения становятся свободным достоянием общества? Во-вторых... точно ли читатель сохранил в памяти те три-четыре ярлыка, при помощи которых школа познакомила его с Гоголем? И, в-третьих, если в сутолоке жизни читатель и не растерял этих сакраментальных эпитетов, то помнит ли он, что они означают? Будят ли они какое-нибудь эхо в его душе?.. Не опустошила и не обездушила ли их вконец наша школа?.. И если так, то не попытаться ли хоть сколько-нибудь оживить их?

Конечно, со стороны читателя лучшей данью памяти Гоголя было бы перечитать ради печально-торжественного дня его сочинения. Но я прекрасно понимаю, что огромное большинство «публики» этого не сделает. Слава богу, мы с читателем выжили из того возраста, когда «знакомятся» с Гоголем. Мы помним, что некий майор, кажется, по фамилии Ковалев, временно лишился носа; что у Ноздрева один бакенбард был непомерно жидок; что Днепр чуден при тихой погоде, что у алжирского бея под самым носом шишка; что Подколесин выскочил через окошко, вместо того чтобы идти под венец; что у Петрушки был свой собственный запах<sup>18</sup>...

Знаем ли мы еще что-нибудь? Увы!..

Мы, разумеется, всегда спешим с лучшей стороны отрекомендовать «этого великого писателя» нашему юному брату, племяннику или сыну, но сами мы предпочитаем наслаждаться «славой русской литературы» совершенно платонически...

Дики мы, читатель, и нет у нас настоящей, глубокой, кровной, «культурной» любви к нашим классикам...

Гоголь родился 19 марта 1809 г. Умер 21 февраля 1852 г. Прожил он, таким образом, менее 43 лет, – гораздо менее, чем это нужно было для интересов литературы. Но и в недолгий срок своей страдальческой жизни он сделал бесконечно много.

---

<sup>18</sup> Здесь автором названы наиболее известные гоголевские персонажи: майор Ковалев (повесть «Нос»), Ноздрев, Петрушка – слуга Чичикова («Мертвые Души»), Подколесин («Женитьба»), «Чуден Днепр при тихой погоде» – начало знаменитого описания Днепра из повести «Страшная месть». «Алжирский бей» – один из бредовых образов сумасшедшего чиновника Поприщина из «Записок сумасшедшего».

До Гоголя русская литература стремилась существовать. С Гоголя она существует. Он дал ей существование, навсегда связав ее с жизнью. В этом смысле он был отцом реальной, или натуральной школы, восприемником которой был Белинский<sup>19</sup>.

До них – «жизнь и возбуждаемые ею убеждения были сами по себе, а поэзия сама по себе: связь между писателем и человеком была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо в качестве литераторов, часто заботились только о теориях изящного, а вовсе не о смысле своих произведений, не о том, чтобы „провести живую идею“ в художественном создании». «Этим недостатком – отсутствием связи между жизненными убеждениями автора и его произведениями – страдала вся наша литература до того времени, когда влияние Гоголя и Белинского преобразовало ее»<sup>[6]</sup>.

По вполне понятным причинам сатирическое направление (в широком смысле) всегда было самым живым, самым честным и искренним в русской литературе. Не в стихотворных рассуждениях Ломоносова<sup>20</sup> о пользе стекла, не в высоком парении державинских<sup>21</sup> од, не в

<sup>19</sup> Белинский, Виссарион Григорьевич (1811 – 1848) – выступил впервые как литературный критик в начале 30-х годов с обзором русской литературы послепетровского времени, статьей о Гоголе и философской статьей «Опыт системы нравственной философии». В этих первых его работах отразилось влияние известного кружка Станкевича, сыгравшего крупную роль в развитии русской мысли 30 – 40-х годов. В разные периоды к этому кружку, кроме Станкевича и Белинского, принадлежали Константин Аксаков, Боткин, Бакунин, Грановский и другие литературные и общественные деятели 40-х годов. Мирозрением, объединившим вначале членов кружка, была философия Шеллинга. Эстетические идеи Шеллинга – признание искусства высшей самодовлеющей ценностью – определили собой ту чисто эстетическую точку зрения, с которой Белинский рассматривал в этот период явления литературы. В то же время Бакунин, с которым Белинский сошелся особенно близко, ввел его в круг идей философии Фихте, полагавшей главное назначение человека в стремлении преобразовать действительность согласно нравственному идеалу. В дальнейшей эволюции своих взглядов Белинский пережил сильное увлечение философией Гегеля, которую он воспринял как учение о разумности всего существующего. Белинский формулировал это новое свое мировоззрение в большой статье о Гамлете, появившейся в журнале «Московский Наблюдатель» в 1839 г. Под влиянием этой философии он порвал с политическим радикализмом прежних лет и в своем преклонении перед действительностью дошел до оправдания самодержавия и крепостного права. Это повело к разрыву его с Бакуниным и к жесточайшей полемике с Герценом. Очень скоро Белинский сам почувствовал противоречие между своей утешительной теорией разумности всего существующего и той, как он выразился, «гнусной» действительностью, которая его окружала. Наступила полоса тяжелого душевного кризиса. Он вышел из него в 1841 – 1842 г.г., отказавшись от своих гегельянских увлечений, а вместе с тем и от чисто эстетической точки зрения на литературу, и пришел к «социальности», с точки зрения которой он стал отныне оценивать все литературные и общественные явления русской жизни. С 1841 г. Белинский начинает помещать в «Отечественных Записках» ежегодные обзоры русской литературы (до 1848 г.). В этих статьях он дал исчерпывающую оценку предшественникам Пушкина – Державину, Жуковскому и Батюшкову – и указал на преемственную связь их с литературой последующего времени. В этих же статьях им были высказаны основные идеи задуманной им в то время истории русской литературы, над которой он урывками работал. Познакомившись с учением Сен-Симона, Белинский воспринял идеи социализма, который, как он писал в 1842 г., стал для него всем, поглотил «и историю, и религию, и философию». Как признанный вождь сложившегося в то время западничества, Белинский вел полемику со славянофилами, с которыми он боролся как с представителями романтизма в литературе и общественности. Романтическому направлению славянофилов он противопоставлял реальную или натуральную школу, проповедником и истолкователем которой он был в последние годы своей жизни. К этому времени принадлежит целый ряд замечательных его статей об Аполлоне Майкове, Баратынском, Державине, и, наконец, самые значительные из его работ – статьи о Пушкине, в которых он дал очень ценный социально-исторический анализ творчества Пушкина. Эти статьи, вместе с более ранними статьями о Гоголе и Лермонтове, подводили итоги закончившемуся периоду русской литературы. В своей последней статье «Взгляд на русскую литературу 1843 г.» Белинский отметил выдающийся талант начинавшего Гончарова и разобрал целый ряд произведений Герцена, Тургенева, Григоровича, Достоевского, приветствуя в их лице представителей реалистической школы в русской художественной литературе.

<sup>20</sup> Ломоносов, Михаил Васильевич – один из величайших русских ученых и деятелей русского просвещения XVIII века. Как поэт, Ломоносов ввел в нарождавшуюся литературу классические формы поэзии, господствовавшие на Западе в первой половине XVIII века. Преобладающей формой его поэтических произведений была ода, посвященная восхвалению высоких особ или торжественных событий. Этой же поэтической формой Ломоносов пользовался не только для выражения своих просветительных идей, доказывая в стихах важность образования и значение науки, но и для обсуждения занимавших его научных и практических вопросов.

<sup>21</sup> Державин, Гавриил Романович (1743 – 1816) – начал свою поэтическую деятельность одами, в которых старался подражать Ломоносову. Однако, начиная с «Фелицы», оды в честь Екатерины II, торжественный тон ломоносовской лирики постепенно уступает у Державина место более живой реальной поэзии. Оды Державина имеют гораздо более жизненное, злободневное содержание и в них начинают уже проскальзывать элементы шутки и сатиры, совершенно несвойственные прежде высокопарному характеру русской поэзии. Но, конечно, и Державин является еще в своих одах придворным поэтом, воспевающим царей и вельмож. Особое место занимают у Державина оды на религиозные темы. Наиболее известна из них ода «Бог».

умилительной нежности карамзинских повестей, – но в сатире Кантемира<sup>22</sup>, но в комедиях Фонвизина<sup>23</sup>, но в баснях и сатирах Крылова, но в великой комедии Грибоедова<sup>24</sup> можно видеть живую общественную мысль, воплощенную в более или менее художественной форме. У Гоголя это направление достигло высшей широты и глубины, в великой поэме «бедности и несовершенства нашей жизни»...

Став жизненной, литература стала национальной.

До Гоголя мы имели российских Феокритов<sup>25</sup> и Аристофанов<sup>26</sup>, отечественных Корнелей<sup>27</sup> и Расинов<sup>28</sup>, северных Гете и Шекспиров<sup>29</sup>, – национальных писателей мы почти не имели. Даже Пушкин не был свободен от подражательности и был награжден титулом «русского Байрона»<sup>30</sup>.

<sup>22</sup> Кантемир, Антиох Дмитриевич, князь, (1711 – 1744) – первый русский сатирик, был одним из образованнейших людей своего века, долго жил в Париже, завязал здесь сношения со многими выдающимися людьми того времени, был в переписке с Вольтером, много переводил с иностранных языков. Главное значение его сатир в их бытовом и идейном содержании. Соответственно духу своего времени – просветительной эпохи XVIII века в Европе, Петровской эпохи у нас – Кантемир считает невежество главным злом русской жизни и подвергает его осмеянию во всех своих сатирах. Самое крупное его произведение, сатира «К уму моему», написана против «хулящих учение». Отрицательные явления русской жизни, как пьянство, ханжество, лихоимство, низкопоклонство и чванство, составляют также обычную тему его сатир. Кроме того, он проповедует в них всеобщее равенство и первый из писателей XVIII века поднимает голос в защиту крепостных. Кантемир смотрел на свою литературную деятельность, как на выполнение гражданского долга. Его сатиры являются первыми образцами гражданско-обличительного направления в русской литературе.

<sup>23</sup> Фонвизин, Денис Иванович (1745 – 1792) – знаменитый писатель екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии. Его комедии «Бригадир» и «Недоросль» занимают первое место в сатирической литературе того времени. Они осмеивают невежество и грубость русского общества и нелепое подражание иностранным модам. В речи резонеров своих комедий Фонвизин вкладывал свои собственные мысли об идеалах гуманности и просвещения.

<sup>24</sup> Речь идет о комедии Александра Сергеевича Грибоедова (1795 – 1829) «Горе от ума», представляющей собою блестящую сатиру на московское общество 20-х годов XIX столетия.

<sup>25</sup> Феокрит – поэт, представитель древне-греческого романтизма, возникшего в эпоху между 315 – 300 г.г. до нашей эры, после завоевания Греции Римом. Настроения, которыми питалась эта поэзия, – грусть о потерянной свободе, любовь к прошлому, к простой, наивной старине и к патриархальному быту. Отсюда стремление опоэтизировать быт простого народа, главным образом, пастухов. Наиболее распространенной формой этой «пасторальной» (пастушеской) поэзии было соединение лирической песни с драматической сценкой, получившее название идиллии или буколики.

<sup>26</sup> Аристофан – афинский поэт, автор знаменитых комедий, живший в V–IV в.в. до нашей эры. Его произведения являются высшими образцами этого рода литературы в древней Греции. В комедиях Аристофана очень силен политический обличительный момент. Наиболее известна его комедия «Облака», осмеивающая Сократа, в котором Аристофан видел только опасного и вредного софиста.

<sup>27</sup> Корнель, Пьер (1606 – 1684) – в истории французского театра занимает одно из первых мест, как создатель национальной трагедии. До него французская драма была рабским подражанием латинским образцам. Корнель оживил ее, ввел в нее движение и страсть, возобновив традиции древней классической трагедии, главным принципом которой было изображение возвышенных страстей, важных событий и сильных людей с трагическими конфликтами и роковой судьбой. Герои Корнеля – сильные люди, непреклонные в исполнении сурового долга. Борьба долга с чувством составляет содержание большинства его драм. Наиболее известны из них: «Сид», «Гораций», «Цинна» и «Полиевкт».

<sup>28</sup> Творчество Жана Батиста Расина (1639 – 1698) – представляет собой самые ранние зачатки романтизма во французской литературе. Темы для своих драм он берет, главным образом, из классической старины, но героический элемент, преобладающий у Корнеля, отступает в них на задний план. Расин изображает жизнь человеческой души, ее волнения, радости и страдания. У Расина драматическое движение определяется не внешними столкновениями, а развитием характеров и страстей. Соответственно новому содержанию язык Расина, несмотря на все условности литературного стиля того времени, в значительной степени освобождается от вычурности и искусственности, свойственной его предшественникам. Приподнятый тон заменяется спокойной стройной речью, эффектные фразы – простыми и выразительными оборотами. С наибольшей полнотой особенности поэтического творчества Расина выразились в его драмах «Ифигения» и «Федра».

<sup>29</sup> Шекспир, Вильям (1564 – 1616) – гениальный английский поэт, величайший драматург нашей эры. Биографические сведения о Шекспире очень скудны. Родился в Стратфорде, был актером в Лондоне, умер в том же городе, где родился. Мировую славу Шекспира создали его драмы, среди которых особенно знамениты: «Гамлет», «Отелло», «Венецианский купец», «Король Лир», «Макбет», «Ромео и Джульетта». В этих и других своих драмах Шекспир дал непревзойденные образцы художественного изображения человеческих характеров и страстей. Образы Гамлета, Отелло, Лира, Шейлока навсегда вошли в сознание культурного человечества, как воплощения некоторых основных психологических типов. Кроме того, Шекспиру принадлежит серия драматических хроник из истории средневековой Англии и ряд комедий. Менее значительное место занимают в литературном наследии Шекспира его поэмы, написанные на сюжеты из античной истории и мифологии, и сборник сонетов.

<sup>30</sup> Байрон (1788 – 1824) – великий английский поэт, родоначальник названного по его имени байронического течения в



Но Гоголь был просто Гоголь. И после него наши писатели перестают быть дубликатами европейских гениев. Мы имеем «просто» Григоровича, «просто» Тургенева, «просто» Гончарова, Салтыкова, Толстого, Достоевского, Островского... Все они ведут свою родословную от Гоголя, родоначальника русской повести и русской комедии. Пройдя через долгие годы ученичества, почти ремесленной выучки, наша «словесность» предъявила свой *Meisterstück* (шедевр), произведения Гоголя, и вошла в семью европейских литератур как полноправный член.

Народность литературы, положив конец школьной подражательности, покончила одновременно и с тем детским народничаньем предшествовавшей эпохи, которое так явно отзывалось маскарадностью: вполне сохранив свой подражательный характер, оно прикрывалось русскими зипунами, армяками и рукавицами.

С Гоголя господином положения делается повесть, этот «эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих». «Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя»<sup>[7]</sup>. До этого мы могли «делать» оды, трагедии, фантазии, идиллии – все, что угодно. Нас не смущало, что жизнь не давала материала ни для трагедии, ни для оды. По отношению к жизни «словесность» пользовалась полной автономией. Она творила из себя, под указку школьной пиитики. Гоголь, в области художественной прозы, и Белинский, в сфере критики, уничтожили следы этой убийственной автономии.

Отныне действительность начинает жить второй жизнью – в реалистической повести и комедии, особенно в первой. Повесть, «наш дневной насущный хлеб, наша настольная книга, которую мы читаем, смыкая глаза ночью, читаем, открывая их поутру»<sup>[8]</sup>.

Марлинский<sup>31</sup> был «зачинщиком» русской повести, Гоголь – ее творцом, Белинский – ее истолкователем.

---

европейской литературе XIX в. Первым крупным произведением Байрона были две первые песни поэмы «Чайльд-Гарольд», появившиеся в печати в 1812 г. Это были путевые впечатления из путешествия Байрона по европейскому востоку, чисто внешним образом объединенные вокруг личности Чайльд-Гарольда. Основные черты этого образа повторялись в дальнейшем в центральных фигурах всех произведений Байрона, развивались и усложнялись, отражая на себе эволюцию душевной жизни самого поэта, и в целом создали образ носителя мировой скорби, «байронического» героя, господствовавший в европейской литературе первые три десятилетия XIX века. Сущность этого характера, как и всего европейского романтизма, составляет восходящий к Руссо протест человеческой личности против стесняющего ее общественного строя. Байрона отделяют от Руссо три десятилетия, заполненные величайшими событиями новой истории. За это время европейское общество пережило вместе с французской революцией эпоху грандиозных замыслов и пылких надежд и полосу самых горьких разочарований. Правящая Англия и сто лет тому назад, как сейчас, стояла во главе политической и общественной реакции, а английское «общество» требовало от каждого своего члена безусловного внешнего подчинения официально признанному кодексу моральных и светских правил. Все это в связи с необузданной и страстной природой самого поэта способствовало тому, что у Байрона протест Руссо превратился в открытый вызов, непримиримую войну с обществом и сообщил его героям черты глубокой горечи и разочарования. В произведениях, появившихся непосредственно за первыми песнями Чайльд Гарольда и также отразившими на себе впечатления востока, образы героев становятся все мрачнее. Они отягощены загадочным преступным прошлым, тяжело лежащим на их совести, и исповедуют мщение людям и судьбе. В духе этой «разбойничьей романтики» написаны герои «Гяура», «Корсар» и «Лары». Политическое вольномыслие Байрона и свобода его религиозных и нравственных воззрений вызвали против него настоящее гонение всего английского общества, воспользовавшегося историей его неудачного брака, чтобы заклеймить его как неслыханного грешника. Байрон с проклятием порывает все связи со старой жизнью и отечеством и отправляется в новое путешествие по Швейцарии. Здесь им были созданы третья песня Чайльд-Гарольда и «Манфред». Четвертая и последняя песня этой поэмы написана Байроном уже в Италии. Она воссоздавала его странствия среди руин античной Италии и была проникнута таким горячим призывом к освобождению итальянского народа, что явилась в глазах реакционных правительств Италии опасным революционным актом. В Италии Байрон примкнул к карбонарскому движению, стремившемуся в 20-х годах XIX в. к освобождению Италии от австрийского владычества и тирании собственных правительств и к национальному объединению. Он скоро становится главой одной из деятельнейших карбонарских секций и основывает в Лондоне орган для распространения идей карбонаризма и поддержки общеевропейского либерального движения. В эти годы Байроном была создана оставшаяся неоконченной поэма «Дон Жуан», блестящая сатира на все цивилизованное общество. В 1823 г. сторонники освобождения Греции предложили Байрону стать во главе восставшей Греции. Байрон последовал этому призыву, собрал добровольческий отряд и отправился в Грецию. Среди работ по организации греческой армии он заболел и умер в Миссолунги в 1824 г. Поэзия Байрона оказала большое влияние на поэтическое творчество Пушкина и особенно Лермонтова.

<sup>31</sup> Бестужев (псевдоним Марлинский), Александр Александрович (1797 – 1837) – был членом Северного Общества (см. прим. 9); после восстания 14 декабря 1825 г. был сослан на поселение в Якутск, а в 1829 г. переведен рядовым на Кавказ. Он

Что дало гоголевской повести преобладание в борьбе литературных видов? Художественная верность действительности. Что такое гоголевская повесть? «Смешная комедия, которая начинается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнью»<sup>[9]</sup>.

Именно: называется жизнью.

Вот почему та ожесточенная свалка мнений, споров и разногласий, которая возникла вокруг имени Гоголя, имела несравненно более общий характер, чем борьба между пережитками ложно-классицизма и псевдо-романтизма, – с одной, и реализма, с другой стороны. Но позвольте мне отойти в сторону и дать слово гениальному критику, бывшему крестным отцом современной русской литературы.

«...Разве эти беспрерывные толки и споры в обществе о „Мертвых душах“, эти восторженные похвалы и ожесточенные брани в журналах, возбуждаемые новым творением Гоголя, – разве это не живое явление и разве это не вопрос, столько же литературный, сколько и общественный?... Мало того, разве весь этот шум и все эти крики – не результат столкновения старых начал с новыми; разве они – не битва двух эпох?... Все, что является и успевает с первого раза, встречаемое и провожаемое безусловной похвалой, все это не может быть важным и великим фактом: важно и велико только то, что разделяет мнения и голоса людей, что мужает и растет в борьбе, что утверждается живой победой над живым сопротивлением... – то сшибка духов времени, то борьба старых начал с новыми»<sup>[10]</sup>.

Нам трудно, почти невозможно представить себе, какое впечатление должны были произвести «Мертвые души» в то мрачное и глухое время.

"Вдруг взрыв смеха, – говорит Герцен в письме к Огареву<sup>[11]</sup>. – Странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение совести, и, пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха. Нелепый, уродливый, узкий мир «Мертвых душ» не вынес, осел и стал отодвигаться", – без излишней, впрочем, поспешности.

«Пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха», – говорит Герцен. Это не голая фразеологическая перестановка: за ней стоит мысль. Теперь, когда "нелепый, уродливый, узкий мир «Мертвых душ» действительно осунулся, мы не так болезненно-чувствительны к его уродству и потому в великой поэме явственнее всего слышим ноты смеха. Но в то время, когда живой Собакевич<sup>32</sup> еще всем наступал на ноги и далеко не всегда извинялся, трагический характер картины выступал на первый план. У лучших людей она вызывала слезы, слезы негодующей беспомощности, слезы одинокого отчаяния... И слезы эти переходили в истерический смех... Только для генералов Бетрищевых<sup>33</sup> Гоголь мог оставаться писателем «по смешной части».

Нелепый мир «Мертвых душ» стал отодвигаться... Но отодвинулся ли он совсем и очистил ли от хлама место для ростков новой жизни?

Ответ слишком ясен. Отменено крепостное право, эта социальная основа мира «Мертвых душ», – но сохранились его бесчисленные пережитки в нравах и учреждениях, но широ-

---

начал печататься в журналах еще в 1819 г. и принадлежал к литературному кругу Пушкина, Грибоедова и Рылеева. Расцвет его литературной деятельности относится к последнему десятилетию его жизни. Написанное им за этот период сделало его одним из любимых писателей того времени. Повести Марлинского носят на себе все черты того бурного протестующего настроения в литературе, которое предшествовало на Западе романтизму и получило в Германии название «бури и натиска» (см. прим. 7). Впечатления ссылки, угрюмой природы Сибири и величавого Кавказа отразились в его произведениях, в которых он рисует людей с бурной и энергичной душой, характеры страстные и пылкие, не знающие меры ни в добре ни в зле. В то же время Марлинский один из первых в русской литературе стал описывать простую русскую природу, русское общество, жизнь обыкновенных русских людей. Этой стороной своего творчества он до известной степени является предшественником русской реалистической школы. Художественное значение его произведений умаляется некоторой ходульностью и искусственностью его литературных приемов.

<sup>32</sup> Собакевич – одно из действующих лиц «Мертвых душ», помещик-крепостник, неотесанный и грубый человек, жадный, тупой и вместе с тем жуликоватый, сумевший надуть Чичикова при продаже «мертвых душ».

<sup>33</sup> Генерал Бетрищев – действующее лицо 2-й части «Мертвых душ», тип ограниченного, самодовольного и тщеславного невежды, любящего почет и обращающегося со снисходительной небрежностью с младшими по чину и низшими по состоянию людьми.

кие общественные группы еще дышат его атмосферой, но целые ряды общественных явлений рождаются на наших глазах силой крепостнического атавизма.

Вспомним, что ближайший преемник Гоголя, автор «Современной идиллии»<sup>[12]</sup>, пользовался гоголевскими фигурами для «персонификации» нашей пореформенной жизни. Можно ли сказать, что в наши дни эти фигуры имеют лишь художественный интерес?.. О, если бы!..

...И поэтому все еще жива трагическая сторона «Ревизора» и «Мертвых душ»...

Сколько пришлось Гоголю выслушать упреков в том, что он изображает все «бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни». Если бы он обнимал сознательно весь смысл и все значение своей творческой работы, он не подчинился бы влиянию этих упреков, – наоборот, они придали бы ему больше силы и уверенности: что же делать, сказал бы он, если рабская атмосфера крепостного права и чиновничьего произвола только и рождает «бедность да несовершенство»... Но Гоголь – о чем мы скажем ниже – не возвышался до цельного критического взгляда на тогдашний общественный строй. Против основ его он не восставал, принципы почитал священными. И не должно ли было его самого озадачить, что из этих неприкосновенных основ и священных принципов вытекают лишь несовершенства и бедность, бедность и несовершенства?..

Отсюда этот странный лирический взрыв в конце I тома «Мертвых душ», где Русь уподобляется бешено несущейся тройке... Отсюда мертворожденные планы, выразившиеся в обещании дать образы доблестного русского мужа и чудной славянской девы.

Как реалист до тончайших волокон каждого творческого нерва, Гоголь не мог иметь успеха в создании «положительных» типов, как не имела этого успеха сама жизнь, по крайней мере, в сферах, доступных литературе и творческому кругозору Гоголя. Не осужден ли он был заранее на неудачу, когда задумал, под влиянием удручающей скудости жизни, поднять на собственных плечах и великого мужа, и необыкновенную деву, каких не бывало у других народов? Увы! Чичиковы, Маниловы, Плюшкины, в лучшем случае Тентетниковы<sup>[13]</sup> – плечо к плечу, нога к ноге – заняли позицию и не желали ее уступать ни в реальной жизни, ни в реальной литературе... Из какого «колена» должен был выйти великий муж? Чичиковского, Маниловского, Плюшкинского, Ноздревского?.. Каким воздухом должны были дышать его легкие? Воздухом крепостного права? Чьей дочерью могла быть чудная дева?..

Живая или, вернее, мертвая действительность не давала на эти вопросы ответа. Славного мужа приходилось не творчески воспроизводить, а сочинять – и кому же? Гоголю, который, подобно великану греческой мифологии, до тех пор лишь и чувствовал себя неодолимым, пока не отделялся от земли... Отсюда фальшь таких образов, как Муразов, Костанжогло... Мудрено ли, что гигантские творческие замыслы поэта превратились в пепел второй части «Мертвых душ»?..

Гоголь начал свое великое служение русской литературе с «Вечеров на хуторе», этих безоблачных, чистых и светлых, как весеннее утро, созданий юного духа, этих «веселых песен на пиру еще неизведанной жизни»; он возвысился далее до великой комедии и бессмертной поэмы чиновничьей и помещичьей Руси – и кончил тяжелым и узким морализмом «Переписки с друзьями». Кажется, нет психологического моста между крайними этапами этого пути.

От молодого «пасечника», который, слегка прищутив левый глаз, рассказывает нам с деловой миной про Пацюка, приходящегося сродни чорту, до творца «Мертвых душ» мы совершаем переход по ступеням нормальной психологии: эти моменты относятся между собою, как юность и зрелость поэтического гения.

Но как совершить дальнейший переход: от Гоголя-реалиста – к Гоголю-мистику, от глубоко-человечного поэта – к узкому аскету-моралисту? Как связать светлые «стихии» его духа с тем состоянием последних лет его жизни, которое сам Гоголь называл «высоким лирическим

порывом», но которое в действительности было – пользуясь определением одной старой умной статьи<sup>[14]</sup> – «неуместным и неловким идеализмом»?

Неужели это Гоголь, который так полно овладел психологическим механизмом мечтательной бездеятельности и сентиментальной ограниченности и дал нам его в руки в образе Манилова, – Гоголь, который, по выражению Ореста Миллера, «уничтожил раз навсегда маниловщину в русской литературе»<sup>[15]</sup> – неужели это он выступает проповедником мистико-моралистической маниловщины в своей злополучной «Переписке с друзьями»?

Неужели это он начинает проникновенным тоном задушевного убеждения всем и каждому подавать поразительно-бессодержательные и плоские советы: губернаторше – как возродить общество примерной скромностью в нарядах; губернатору – о необходимости иметь благонравных чиновников губернского правления для благоденствия граждан; помещику – об устройении идеальных отношений к крестьянам на неприкосновенной почве... крепостного права? Неужели это Гоголь-серцеев, Гоголь-юморист, Гоголь-реалист, выведший на лобное место всероссийскую пошлость, узорность, бездеятельность, маниловщину, преподает советы, столь ограниченные, квиетистические, маниловские?.. Неужели?..

Этот поразительный раскол между Гоголем-художником и Гоголем-моралистом заставляет многих обращаться к психиатрии за материалами для объяснения и примирения. Сам Гоголь жаловался, что по поводу «Переписки с друзьями» «почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства» («Исповедь»).

И в наши дни делаются запоздалые попытки установить диагноз душевной болезни страдальца-писателя и подвести противоречия и странности его писем и произведений, его тоскливое настроение и «навязчивые идеи мистического характера» под ту или иную клиническую характеристику «депрессивных психозов»<sup>[16]</sup>.

Мы не будем разбирать эти попытки по существу, – прежде всего потому, что они лежат за межей интересующего нас историко-литературного вопроса.

Подлежит ли душа нашего великого писателя в последний период его жизни ведению психологии или психопатологии, это нисколько не разрешает задачи: как и почему реалист-художник перешел к мистическому дидактизму? Не психиатрическая, но социально-историческая точка зрения может нас вывести на дорогу.

Задумаемся: как пришел Гоголь к своей моралистической философии? Силой художественной интуиции он взорвал твердыни обыденного варварства, повседневных зверств, обычных преступлений и неизбывной пошлости – пошлости, пошлости без конца.

Все, что сложилось столетиями, скрепилось привычкой, покрылось многовековой пылью, увенчалось мистической санкцией, он взворошил, поднял, обнажил и сделал задачей для мысли и вопросом для совести. И всю эту работу он совершил без участия резонирующего и систематизирующего разума: его творческий гений брал действительность голыми руками<sup>[17]</sup>. Поразительно подумать: крепостное право, соками которого питались все уродства, зверства и ужасы тогдашней российской жизни, существует для Гоголя только как факт, но не как вопрос.

Когда эта «подпольная» деятельность сознания завершилась и объективировалась в ряде образов, бессмертных, как правда, – образы эти предстали пред мыслью художника как объективные вопросы сфинкса жизни.

Что же представляла собой мысль Гоголя?

Нужно помнить и помнить, что Гоголь жил в то время, когда в нашем обществе еще не было устойчивой «интеллигентной» атмосферы, когда вопросы гражданского мирозерцания были совершенно недоступны литературе и почти не составляли еще предмета кружковых обсуждений. В 20-х годах, когда Гоголь был еще мальчиком и жил в провинции, в лучших кругах столичного «общества» начало вырабатываться мирозерцание, которое на

современном журнальном жаргоне можно бы назвать «передовой общественной идеологией». Но в середине десятилетия эта выработка прекратилась чисто механическим путем<sup>34</sup>. В 30-х годах снова появляются оазисы мыслящей интеллигенции, из которых вышли лучшие деятели последующей эпохи. Но прежде чем как Гоголь мог примкнуть к этим группам, он успел прославиться как автор «Вечеров» и вступить в пушкинский кружок, который оказывал ему большую поддержку как художнику, но совсем неспособен был расширить его общественный кругозор. Прибавьте, что с 1836 года Гоголь почти постоянно жил за границей, крайне замкнутой жизнью, поддерживая отношения лишь с несколькими лицами, взгляды которых так же были лишены элемента критики, как и его собственные...

И вот невооруженная, неподготовленная мысль Гоголя оказалась лицом к лицу с массой взаимно-связанных вопросов, поднятых творчеством самого художника, – а чуткая совесть не давала разуму успокоиться. Приходилось искать решения во что бы то ни стало, при помощи тех жалких приемов мышления, которые были переняты по традиции, как законченные, абсолютные, не допускающие сомнения.

Мысли, не имевшей опоры внутри себя, необходим был внешний авторитет, чтобы справиться с разрушительной работой непосредственного творчества, – и такой авторитет нашелся в моральных кодексах, навязанных внушениями детства, освященных воспоминаниями.

Вполне, значит, неосновательно раскалывать душевную жизнь Гоголя пополам и для связи этих половин привлекать психопатологию.

Мистико-моралистическое настроение конца жизни великого писателя было развитием тезисов, привитых традиционным воспитанием. Собственное художественное творчество породило потребность осмыслить жизнь, – и в ответ на этот запрос чуткой писательской совести Гоголь делает болезненные усилия возвести к единству все те архаические принципы, которые передаются из поколения в поколение, внушают большинству платоническое уважение, но никем не применяются к жизни.

Можно себе представить, какую ложную оценку должны были встретить с точки зрения этих ветхих кодексов результаты художественной интуиции, какое узкое и детски-наивное решение должны были получить вопросы общественной жизни!..

Возьмем комедию «Ревизор», своего рода «поэму» провинциального чиновничества. Сквозник-Дмухановский – плут, казнокрад, взяточник, низкопоклонник... Ужаснее всего, конечно, что «в нем это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях»<sup>[18]</sup>. Его нравственное безобразие – простой логический вывод из известных общественных посылок. В этом, употребляя терминологию того времени, «пафос» его фигуры.

Понятно, что комедия внушала заключения, далеко переросшие правила гражданского благонравия, запрещающего брать взятки и обкрадывать казну. Гоголь, по всему складу своих понятий, не мог постигнуть общественную ценность и исторический смысл этих заключений. Он испугался их. Как результат этого испуга явилась попытка мистико-моралистического толкования глубоко-реалистической общественной комедии. Оказалось, что город, выведенный в комедии, – засоренная душа наша. Плуты-чиновники – наши лукавые страсти. Хлестаков – фальшивая и подкупная светская совесть. А жандарм, этот отечественный *Deus ex machina*<sup>35</sup>, эта провиденциальная фигура, развязывающая своим прозаическим появлением тысячи жиз-

---

<sup>34</sup> Речь идет об общественном движении 20-х годов XIX столетия и деятельности тайных обществ, приведшей к восстанию декабристов, а также о политической и общественной реакции, наступившей после расправы с участниками декабрьского восстания.

<sup>35</sup> *Deus ex machina*. – В античном театре судьба героев часто разрешалась появлением на сцене какого-нибудь божества, спускавшегося с неба. В современной критике выражение *deus ex machina* употребляется для обозначения искусственной развязки при помощи события, не имеющего внутренней связи с содержанием произведения.

ненных драм и комедий, – этот жандарм оказывается вестником грозного судьи, истинной неумолимой совести («Развязка Ревизора»).

Это бесцветно-дидактическое изъяснение никого ни к чему не обязывало и неспособно было ни на йоту уменьшить «бродильную» силу комедии.

То же и с другими произведениями. Они вызывали в общественном сознании связный строй мыслей, далеко выходивших за пределы общественного кругозора самого Гоголя. «Из-за этих чудовищных и безобразных лиц, им (вдумчивым читателям) видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что должно быть»...<sup>[19]</sup>.

В чем, например, Белинский – а с ним и за ним лучшая часть общества – видит «пафос» «Мертвых душ», основную идею поэмы? "...В противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения"<sup>[20]</sup>. Если освободить эту фразу из железных тисков гегельянской фразеологии, то получим мысль очень простую и очень глубокую: основная идея поэмы – противоречие окрепших, неподвижных форм русской жизни с ее текучим содержанием, выдвигающим запросы, которым тесно в старых рамках. Это движение «субстанциального начала», не исчерпавшее себя и по сей день, привело в свое время к отмене крепостного права и к целому ряду других общественных преобразований. Не последнее место в этом движении занимает гоголевская поэма.

И с какой бы настойчивостью и искренностью Гоголь ни повторял впоследствии, что он рожден вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературы, а затем, чтобы спасти душу, – дело «непоправимо»: Гоголь создал эпоху, Гоголь создал школу, Гоголь создал литературу...

Да, несомненно, что славный писатель во многом заблуждался... Ни одному из бесчисленных Акакиев Акакиевичей «Переписка с друзьями» не могла заменить шинель..., а Акакии так в ней нуждаются...

Но кто посмеет бросить ныне камень осуждения в великого мученика совести, который так страстно искал истины и ценой таких страданий покупал заблуждение?..

Если он пытался ослабить общественный смысл собственных произведений, давая им безличное моралистическое толкование, – да не зачтется ему!

Если своей публицистикой он соблазнил кого-нибудь из малых сих, – да простится ему!

А за его великие, неоценимые заслуги художественному слову, за возвышенно-человечное влияние его творений, – вечная, немеркнущая слава ему!

«Восточное Обозрение» N 43, 21 февраля 1902 г.

## Л. Троцкий. ГЕРЦЕН И «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(«Вестник Всемирной Истории» N 2, январь 1901 г.)

Я буду говорить не об общей физиономии названного журнала, – хотя бы уже потому, что никакой физиономии у этого журнала нет: есть обложка с изображением разнообразных храмов и памятника Петру Великому, есть «оглавление», есть «к сведению гг. подписчиков», «к сведению (гг.?) авторов статей», есть, наконец, и самые статьи, – а физиономии нет. А известно, что на нет и суда нет, значит нет и критики.

Я хочу высказать некоторые соображения по поводу помещенной в названной книжке статьи г. Н. Белозерского "А. И. Герцен и «молодое поколение», т.-е. поколение шестидесятых годов. Но сперва небольшое предварительное замечание. На симпатиях к 60-м годам часто сходятся люди самых различных направлений; между тем самый элементарный анализ мог бы обнаружить, что такая «конгруэнция» симпатий – чистейшая фикция; одни ассоциируют представление о шестидесятых годах с именами официальных деятелей «эпохи великих реформ», у других тот же термин – 60-ые годы – сросся с мыслями о Писареве<sup>36</sup>, о Базарове<sup>37</sup> и обо всем прочем, сюда относящемся. В своей характеристике «молодого поколения» г. Белозерский имеет в виду, разумеется, это второе, неофициальное течение шестидесятых годов.

С первого взгляда казалось бы, что мы отошли на такое приличное расстояние во времени от эпохи раскола между Герценом и «молодым поколением», что должны бы рассматривать этот раскол чуть ли не с объективизмом натуралистического исследования, – но это только «с первого взгляда»: настоящее, как видно, слишком глубоко коренится в прошлом; жизнь еще не перерезала связующей их пуповины, и мы с г. Белозерским – увы! – все еще приступаем к

---

<sup>36</sup> 36 Писарев, Дмитрий Иванович (1840 – 1868) – возглавляет собой одно из наиболее ярких идейных течений шестидесятых годов. Выступив в 1861 г. в качестве литературного критика в «Русском Слове», он быстро выдвигается в ряды передовых публицистов и становится идейным вождем целого поколения. Основные идеи, одушевлявшие передовых людей 60-х годов, были уже сформулированы непосредственными предшественниками Писарева – Добролюбовым и Чернышевским: это были – атеизм и материализм, уважение к человеческой личности и защита ее прав, преклонение перед разумом, как сильнейшим орудием в борьбе за освобождение личности против враждебных ей темных сил. Но у Писарева, доводившего до конца все свои взгляды с резкой прямолинейностью, эти идеи принимают форму одностороннего индивидуализма. Смысл движения 60-х годов заключался в борьбе с феодально-крепостным строем. Разночинец, в лице Писарева, осудил всю дворянскую культуру и в своей критике не оставил от нее камня на камне. На этой почве произошло расхождение с «отцами», людьми 40-х годов, которые тоже отрицали крепостническую действительность, но, осужденные на бездействие, могли только культивировать отвлеченный идеализм, далекий от насущных вопросов жизни. Разночинец же хотел действовать и противопоставил прекраснотворным идеалам дворянской интеллигенции позитивно-научное мирозерцание. «В науке и только в ней одной заключается та сила, которая... может... сформировать мыслящих руководителей народного труда» («Реалисты»). Но наукой в 60-е годы считалось почти исключительно естествознание, которое и сделалось для Писарева предметом настоящего культа. Утилитаризм в морали и искусстве был уже провозглашен Добролюбовым и Чернышевским, но Писарев и здесь сказал последнее и самое крайнее слово в своем «Разрушении эстетики» и развенчании Пушкина. Писарев считал себя человеком среднего сословия, которое, по его мнению, одно только «действительно живет и движется». К нему одному он обращался и только в нем одном видел орудие, при помощи которого можно бороться с общественным злом.

<sup>37</sup> 37 Базаров – действующее лицо в известном романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», воплотившее в себе настроения и убеждения тех людей шестидесятых годов, представителями которых являлся Д. И. Писарев (см. выше). Вокруг фигуры Базарова разгорелись страстные споры: консервативная критика поняла ее как «обличение народившегося нигилизма», часть радикальных прогрессивных кругов усмотрела в ней клевету на молодое поколение, а Писарев признал в Базарове «мыслящего реалиста», огромную силу своего времени. По мысли самого автора, роман был скорее обличением органических недостатков дворянского класса, он должен был показать, как даже лучшие представители этого класса оказываются несостоятельными перед человеком нового типа, сильным и жизнеспособным, вынесшим из пройденной им суровой школы жизни глубокое отвращение к дворянскому безделью и способность к неутомимому труду. Базаров – враг всякой эстетики, потому что она до сих пор была уделом «проклятых барчуков». Жизнь для него «не храм, а мастерская, и человек в ней – работник». «Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя, – говорит Писарев, – он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди никакой высокой цели, в уме никакого высокого помысла, и при всем этом сила огромная, – сила отрицания всех основ осужденного историей быта.



обсуждению деятельности поколения 60-х годов и его розни с представителями 40-х годов со скрытым, часто и от нас самих, намерением кого-то обелить, а кого-то побольнее лягнуть.

Г-н Белозерский отличается, как видно из статьи его, тем нередким качеством, которое один писатель очень остроумно назвал «азартом умеренности». Это не *contradictio in adjecto* (логическое противоречие): умеренность тоже имеет свой азарт, иногда крайне неумеренный, и свою непримиримо-фанатическую ненависть к... неумеренности. Вся маленькая статья г. Белозерского окрашена большим азартом умеренности.

Какое-нибудь «погибшее, но милое создание с Невского, д. N 40»<sup>[21]</sup> совершит по адресу 60-х годов – просто какое-нибудь неприличие, а затем подобострастно захихикает в сторону ближайшего городского, жадно ища «моральной» поддержки; почтенные, хотя несколько излишне «духовитые» «Московские Ведомости» просто лягут 60-ые годы по возможности всеми четырьмя копытами, сразу задев уж заодно и 40-ые годы, и 70-ые, и 80-ые, и 90-ые, и вообще все, что хоть сколько-нибудь выпячивается над горизонтом военно-поселенческого идеала, – а какой-нибудь азартно-умеренный г. Белозерский подойдет к делу бочком, с «либеральными» экивоками, шаркнет ножкой, сделает ручкой, а затем уже, соблюдши все либеральные аппарансы, осудит по всей строгости закона «крайности» и «резкости», «узости» и «прямолинейности».

Рассмотрению отношений Герцена и «молодого поколения» г. Белозерский посвятил менее семи страниц, но на этом ограниченном поле автор сгустил столько исторической лжи, уместил столько мещанского азартно-умеренного глубокомыслия, что нельзя не отдать ему дани удивления.

Автор находит, что причины разлада между Герценом и «молодым поколением» «лежали глубоко, в целом ряде довольно сложных психологических мотивов, но для человека такого ума, как Герцен, они не могли быть неясными, непонятными»... На этом основании автор обращается к сочинениям Герцена, где и находит «немало интересного материала как для выяснения причин этого разлада, так и для характеристики самих „молодых“ эмигрантов»...

После изысканий автора в «интересном материале» оказывается, что «новых людей, давно уже покончивших со всякими „идеями“, с образованием, с дальнейшим умственным развитием», нисколько не интересовали «теоретические вопросы, которым отдали когда-то такую великую дань» московские идеалисты 30 – 40-х годов – "отчасти, может быть, потому, – рассуждает автор, – что для них на первом плане стояло практическое осуществление теоретических идеалов (что это: смягчающее вину обстоятельство? Л. Т.)... отчасти потому, что у большинства их даже и не возникало таких вопросов, в силу их умственной узости и малообразованности"... Да и чего вообще ждать от людей, которые не только «наукой занимались мало», но «даже мало читали и не следили правильно за газетами»... и в довершение всех неприятностей были «фанатиками своей идеи; только с точки зрения этой идеи они и оценивали все явления окружающей жизни». Не забудьте при этом, что «молодости свойственна прежде всего самоуверенность, и молодые эмигранты (автор отождествляет их всюду с „молодым поколением“) могли примириться со всякой чужой программой лишь настолько, насколько последняя не противоречила их собственной программе».

Если теперь прибавить, что Герцен характеризуется как «широкая русская натура» (ах, г. Белозерский!), что, по г. Белозерскому, Герцену, как «чисто-русскому человеку», свойственна «душевная мягкость», «мягкая гуманность», что отличительную черту его составлял «художественный дилетантизм», «утонченный аристократизм», – то станет вполне и окончательно понятным, почему «Герцену и его друзьям... было подчас душно и тяжело в обществе таких прямолинейных людей». Отсюда раскол, который начался, «как это всего чаще случается – с замечательным мещанским глубокомыслием замечает г. Белозерский, – на почве самого щекотливого вопроса – денежного».

Вы видите, что в своей роли третейского судьи г. Белозерский всецело на стороне Герцена и против «молодого поколения» и старается соответственным образом охарактеризовать обе стороны. Но в результате этих стараний – безжалостная Немезида исторической правды! – у г. Белозерского получается нечто в высшей степени неожиданное и в своей неожиданности – поучительное.

Относительно Герцена мы слышали довольно двусмысленные отзывы. «Широкая русская натура»! Что это такое, как не затасканная комбинация из трех слов, лишенная определенного содержания. Разве Ноздрев не «широкая русская натура»? Мягкая гуманность, гуманная мягкость... и в довершение – художественный дилетантизм. Поистине «не поздоровится от этих похвал»!

Но если Герцена автор оклеветал и обезличил с лучшими намерениями, в целях возвышения, то с «молодым поколением» у него приключился прямо противоположный казус: в характеристике этого поколения, которое г. Белозерский старается изобразить если не совсем уж сборищем «рыжих уродов», людей с песьими головами, то по крайней мере «Ноздревыми и Собакевичами нигилизма», в этой характеристике, говоря, порою звучат вполне неожиданные и – надо думать – самому г. Белозерскому совершенно непонятные в своем значении ноты.

Правда, молодое поколение будто бы отличалось «умственной узостью и малообразованностью» и даже не следило правильно за газетами, давно покончив «со всякими идеями, с образованием, с дальнейшим умственным развитием»; правда, оно сверх того отличалось "сухим, резким, заносчивым и всегда приподнятым (это у Базарова-то?! – Л. Т.) тоном; правда, оно проявляло «обидное пренебрежение к искусству»; правда, по мнению г. Белозерского, это поколение представлено в литературе не только Базаровым, но и Марком Волоховым и «другими (?)», созданными нашими великими писателями-художниками нигилистами»<sup>[22]</sup>, – но ведь за то же оно, это самое поколение, покончившее со всякими «идеями», отличалось, по тому же автору, «фанатически нетерпимой демократической „идейностью“» (над которой г. Белозерский издевается при помощи незамысловатого типографского средства: кавычек), только с точки зрения своей идеи оно оценивало все явления окружающей жизни (неужели это упрек?), наконец, оно «могло примириться со всякой чужой программой лишь настолько, насколько последняя не противоречила его собственной программе» (и эта черта под знаком минуса?).

Крайне любопытно, что порекомендовал бы представителям этого поколения умереннейший г. Белозерский? Примириться с теми программами, которые противоречили их собственной программе? Оценивать «все явления окружающей жизни» не с точки зрения своей демократической идейности, отданной автором под гласный надзор кавычек, а с разных точек зрения, вообще – «применительно к случаю»? Не забывают только, что, по толкованию Салтыкова, программа «применительно к случаю» подразумевает и «применительно к подлости»...

Может быть, г. Белозерский и подал бы все эти советы, но мы не сомневаемся, что «демократическая идейность» и узкая «прямолинейность» драгоценнее и выше самой аристократической безыдейности и самой широкой криволинейности...

Для г. Белозерского, конечно, не секрет, что крупнейшим представителем того поколения, которое он безуспешно пытается нарисовать несколькими мазками суздальской кисти, смоченной в голландской саже, является не кто иной, как Дмитрий Иванович Писарев. Но как истый литературный дикарь, г. Белозерский суеверно избегает произносить имя неприятного ему человека. А между тем Писарева при сей okazji не мешало бы вспомнить. Вот что у него можно, например, вычитать по части демократической «идейности» и вытекающего из него «обидного пренебрежения» к эстетике.

«Я весь принадлежу, – говорит „первоапостол нигилизма“, – тому обществу, которое меня сформировало. Все силы моего ума составляют результат чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на разные приятные глупости, то я окажусь несостоятельным должником... врагом того самого общества, которому я обязан решительно всем».

«Когда вы придете к таким серьезным заключениям (слушайте, г. Белозерский!), тогда бесцельное (т.-е. эстетическое, не реалистическое, по терминологии Писарева) наслаждение жизнью, наукой, искусством окажется для вас невозможным» («Реалисты»).

Это, повторяю, образчик по части фанатически нетерпимой демократической идейности; но в тех же «Реалистах» можно вычитать кое-что поучительное по поводу прямолинейной оценки всех явлений окружающей действительности с точки зрения одной и той же идеи. По Писареву, для «эстетика» идея деятельной любви – блестящий мундир, в который порядочный человек облачается только в дни неприсутственные, но который способен отравить ваше существование, если вы станете его носить в будни, за работой. Для «реалиста» та же идея, проводимая им, говоря словами Писарева, «во все мельчайшие поступки собственной жизни», – просторное домашнее платье. Наконец, тот же Писарев с исключительной узостью и прямолинейностью заявляет: «вне вопроса о голодных и раздетых нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

Г-н Белозерский говорит: «То, что было общего между Герценом и молодой эмиграцией, было слишком обще, чтобы можно было сойтись на этом близко». В этом есть доля истины. Нужно лишь прибавить, что и то общее, что было во взглядах Герцена и «молодого поколения», получало у них существенно различную психологическую окраску.

Люди 30 – 40-х годов были дворяне – хотя и «раскаившиеся» в своем дворянстве и направлявшие все свои симпатии сверху вниз, к массе.

Разночинец, как типичный представитель 60-х и 70-х годов, рвался снизу из темной массы вверх, к свету, к науке, которую он, вопреки совершенно ложному утверждению г. Белозерского, уважал до самозабвения. Он был сын массы, плоть ее плоти, и его плебейскую гордость почти оскорбляло, когда к его делу снисходил дворянин – «утонченный аристократ», «художественный дилетант», – хотя бы и раскаившийся в своем дворянстве. На этой почве вырастало много психологических осложнений...

Вспомним отношение Добролюбова<sup>[23]</sup>, Писарева, Н. К. Михайловского<sup>38</sup> – людей «молодых поколений» – к Тургеневу, Кавелину<sup>39</sup>... – и обратно, отношение Кавелина, Боткина<sup>40</sup>, Щербины<sup>41</sup> или какого-нибудь Михаила де-Пуле<sup>42</sup> к вынырнувшему снизу разночинцу, кото-

---

<sup>38</sup> Михайловский, Николай Константинович (1842 – 1904) – известный публицист, социолог и критик, один из выдающихся теоретиков народничества. Свое политическое мировоззрение Михайловский выработал еще в 60-х годах, ставши на путь народнического социализма. Большое влияние на молодое поколение Михайловский приобретает в 80-х годах, сначала как сотрудник, а затем и как член редакции «Отечественных Записок». В этом журнале он поместил все свои важнейшие социологические и критические статьи: «Что такое прогресс?», «Герои и Толпа», «Теория Дарвина и общественная наука» и т. д. После закрытия «Отечественных Записок» Михайловский сотрудничает в «Русской Мысли» и в «Северном Вестнике», а с 1892 г. становится главным руководителем «Русского Богатства». В своих философских работах Михайловский старался обосновать субъективный метод в социологии, исходя из понятия о «критически мыслящей личности». Наряду с публицистической деятельностью Михайловский принимал живейшее участие в работе партии «Народной Воли», редактируя некоторые издания последней. В 90-х годах Михайловский повел ожесточенную идейную борьбу с первыми русскими марксистами, доказывая нежизнеспособность капитализма в русских условиях и продолжая проповедовать отживающие народнические взгляды о «самостоятельности русской общины и об особых путях к социализму».

<sup>39</sup> Кавелин, Константин Дмитриевич (1818 – 1885) – ученый и общественный деятель, друг Тургенева и Боткина. В своих статьях по крестьянскому вопросу проводил считавшийся в то время очень радикальным взгляд об освобождении крестьян с землей, с предоставлением им права выкупа своего надела в собственность. В ряде статей по поводу различных философских вопросов пытался противодействовать материалистическим тенденциям 60 – 70-х годов прошлого столетия, в частности вел полемику с известным физиологом Сеченовым, проводившим в своих «Психологических этюдах» («Вестник Европы» 1872 – 1873 – 1874 г.г.) материалистическое понимание психической деятельности.

<sup>40</sup> Боткин, Василий Петрович (1810 – 1869) – писатель, сотрудник «Отечественных Записок», где он помещал статьи об искусстве и произведениях иностранной литературы, и «Современника», где были напечатаны его «Письма об Испании». Друг Герцена и Белинского, Боткин был одним из типичных представителей людей 40-х годов. Его мирозерцание сложилось под сильным влиянием Гегеля и Сен-Симона.

<sup>41</sup> Щербина, Николай Федорович (1821 – 1869) – поэт, автор звучных стихотворений, воспевающих красоту Греции и любовь, а также многочисленных эпиграмм, направленных против общественного движения и передовых деятелей 60-х годов.

рый, может быть, провозглашал в общем те же идеи, но пропах совершенно новым и на эстетическое обоняние несимпатичным общественным букетом.

Что касается в частности отношений Герцена к молодой эмиграции, то тут надлежит отвести известное место властолюбивому, самоуверенному характеру Герцена. Даже на людей своего круга, по отношению к которым он был, так сказать, лишь *primus inter pares* (первый среди равных), ему приходилось смотреть несколько сверху вниз. Так, Кавелину он, по выражению Богучарского, писал «тоном властного человека» («Научное Обозрение», 1900, IX, 1546), а Тургеневу не раз приходилось начинать свои письма к нему фразами вроде такой: «Ну, и гневен же ты, гневен, Александр Иванович». Надо думать, что такой тон, вполне объясняемый исключительной талантливостью Герцена и питавшийся атмосферой постоянного поклонения, должен был вызвать естественную оппозицию в рядах молодой эмиграции. Прибавьте еще, что эмигрантская атмосфера по отношению ко всяким раздорам является атмосферой теплицы... Но «тон» Герцена – это деталь, на которой мы останавливаться не будем.

Итак, надо признать вместе с г. Белозерским, что «причины разлада лежали глубоко, в целом ряде довольно сложных психологических мотивов», – но попытка проникнуть в эти сложные мотивы совершена г. Белозерским с совершенно негодными средствами из арсенала азартной умеренности, и в понимание факта раскола он не внес ничего, кроме путаницы.

Могут заметить, что все глубокомыслие г. Белозерского просто не заслуживает внимания и уж во всяком случае не заслуживает столь подробного обсуждения. Возражение по обстоятельствам минуты несправедливое. Мы, по-видимому, вступаем в «эпоху» реставрации или, пожалуй, легализации Герцена, что естественным образом создает или обновляет некоторый культ его личности. Мы искренно и глубоко убеждены, что личность Герцена настолько громадна, выпукла, заслуги его в истории развития русского общественного самосознания столь велики, что исключают надобность и возможность какой бы то ни было переоценки, преувеличения, особенно купленного ценою принижения поколения, шествовавшего на смену Герцену, поколения, занявшего самостоятельное и далеко не последнее место в памяти передовых групп русского общества.

«Восточное Обозрение» NN 88, 91, 22, 26 апреля 1901 г.

---

<sup>42</sup> Де-Пуле (1822 – 1885) – педагог и писатель. В «Русском Вестнике» за 1881 г. он поместил статью под заглавием «Нигилизм как патологическое явление русской жизни».

**Л. Троцкий.**  
**Н. А. ДОБРОЛЮБОВ И «СВИСТОК»<sup>[24]</sup> (К**  
**сорокалетию со дня смерти)**

*"...Плясать бы заставил я дубы  
И жалких затворников высвистнул к воле,  
Когда б на морозе не трескались губы,  
И свист мой порою не стоил мне боли".*  
**«Свисток». Ad se ipsum (к самому себе).**

На молодой русской литературе лежат скорбные тени. Два величайших русских поэта и два величайших русских критика унесли с собою в могилу, вероятно, лучшие сокровища своего духа: Пушкин и Белинский ушли из жизни, едва достигнув полной духовной зрелости, Лермонтов и Добролюбов – еще юношами. Оба поэта погибли от пули. Оба критика пали жертвой чахотки.

Не нужно быть мистиком, чтобы усматривать в этой трагической симметрии нечто фатальное. Никто, даже гений, не застрахован, конечно, от того жестокого издевательства судьбы над человеком, которое называется «несчастливым случаем». Но тут перед нами не случай, тут нечто более глубокое, более «закономерное» и потому – более трагическое...

Оба поэта были чужими в окружавшей их среде. Гонимые, преследуемые завистью тайной, злобой открытой и клеветой ядовитой, они были принесены в жертву понятиям условной чести и кружковой морали. Рожденные для света, они задохнулись в атмосфере подвалов... Два ничтожных кусочка свинца были не худшим из возможных для них исходов.

Оба критика были сожжены внутренним пламенем, не находившим выхода... Я хотел было обойти это часто повторявшееся выражение, но мне не удалось это сделать: до такой степени оно точно формулирует судьбу этих двух «великих сердец».

Мысль, не находившая воплощения в слове, мысль, одинаково огненная и у «неистового» Белинского и у «холодного» Добролюбова, испепелила их обоих. Разрушительная работа чахотки была как бы физическим лейтмотивом к процессу духовного «сгорания».

Два разбитых и два сгоревших сердца – не символизируют ли они судеб русской литературы?

"Я ваш, друзья, – хочу быть вашим,  
На труд и битву я готов, -  
Лишь бы начать в союзе нашем  
Живое дело, вместо слов.  
Но если нет, – мое презренье  
Меня далеко оттолкнет  
От тех кружков, где словопренье  
Опять права свои возьмет.  
И сгину я в тоске безумной,  
Иль в мире с пошлостью людской,  
Все лучше, чем заняться шумной  
Надменно праздной болтовней"<sup>[25]</sup>.

Презрение к самодовлеющему «словопрению», к шумихе «хороших» слов, к культу либеральной фразеологии, вытекало из основной черты писательской физиономии Добролюбова. Черта эта, особенно осязательно выступившая в «Свистке», – умственный и нравственный ари-

стократизм. Это не значит, конечно, что Добролюбова не удовлетворяло «земное», и он питал в своей душе «аристократическую» жажду того, чего «не бывает на свете», – нет, подобному «аристократизму» он отдал сатирическую дань пером Аполлона Капелькина<sup>[26]</sup>.

Еще менее, разумеется, можно понимать сказанное определение в том смысле, что Добролюбов противопоставлял себя «черни», которая, как известно, туговата к сладким звукам и молитвам: «аристократическое» презрение к «низменным» запросам толпы достаточно решительно охарактеризовано в стихотворении Конрада Либлиншвагера «Чернь» («Свисток» N 4).

Нет, аристократизм Добролюбова имел более высокую природу! Он проявлялся не только в болезненной чуткости ко всякой фальшивой ноте, но и в острой брезгливости к самым искренним и глубокомысленным рассуждениям на темы: «полезна палка или вредна?», «нужна ли грамотность или нет?», «красть или не красть?», «молчать или говорить?»... «И кто скажет: не красть, или говорить, – перед тем все сейчас и кинутся на колени. Ах, говорят, как ты умен, как ты благороден, как ты велик»... (Из отзыва о стихотворениях Михаила Розенгейма.)

Эти гражданские начатки, азбука общественности и «склады» либерализма представлялись ему истинами непосредственного усмотрения, занимали такое же место в его общественно-идейной жизни, какое, напр., носовой платок занимал в его повседневном практическом обиходе.

Если и могла быть, с его точки зрения, по поводу этих культурных начатков речь, то только на тему о средствах, какими можно добиться устранения палки и распространения грамотности, а философско-историческое и философско-юридическое обоснование этих требований представлялось ему не только докучным излишеством, но и прямым свидетельством умственного убожества и нравственной тупости. Нелепо же, в самом деле, когда взрослый человек, имеющий претензии на гражданскую зрелость, начнет строить либеральнейшие силлогизмы, чтобы обосновать разумность употребления носового платка!

Добролюбов иллюстрирует сам эту мысль следующим образом. «Странно бывает обществу образованных людей, – говорит он, – когда в среду их вторгается рассказчик, не умеющий, напр., произнести ни одного собственного имени без нарицательного добавления и говорящий беспрестанно: город Париж, королевство Пруссия, фельдмаршал Кутузов, гениальный Шекспир... и т. п. Вы знаете, что все его прибавки справедливы, вам нечего сказать против них, но вы чувствуете почему-то, что лучше бы обойтись без них. То же самое бывает и с нравственными понятиями. Вам становится просто неловко и совестно в присутствии человека, с азартом рассуждающего о негуманности людоедства или о нечестности клеветы» («Письмо из провинции», «Свисток» N 1). Можно себе представить, как часто приходилось испытывать это чувство «неловкости» Добролюбову, выступившему в литературе в то время, когда всякое «отрадное явление» ценою в два гроша старались утопить в волнах гражданского пафоса, когда даже фельетонные статейки о привилегированной ваксе начинались роковой фразой: «в настоящее время, когда у нас возбуждено так много общественных вопросов»...

Выдвигать против подобного фразеологического потока тяжелую артиллерию солидной аргументации бесполезно, тут место насмешке, иронии, сатире. И Добролюбов вооружился свистком. Напомню читателю приемы его «свиста».

Конрад Либлиншвагер<sup>[27]</sup> перелагает в рифмованные строки приходо-расходную книгу Степана Фомича, месячный оклад которого составляет 11 рублей и 33 копейки, и, сделав безукоризненный арифметический вывод, что в високосный год Степану Фомичу никак не свести концов с концами, а значит – не обойтись без «добровольных даяний», с неподражаемым пафосом восклицает:

"Вы все заражены иудиним пороком.  
Меж вами царствует мздоимство, лесть и ложь...  
Но горе! Я восстал карающим пророком

И обличу я вас за каждый лишний грош!!!"

Разве тогдашние тихоходы и крепкодумы публицистики, знаменитые «либеральные каплуны», не должны были усмотреть в подобных выходках неукротимого Конрада Исаича если не преступную снисходительность к «разъедающему грудь пробуждающегося отечества» взяточничеству, то уж во всяком случае недостойный гражданский квиетизм, вдвойне позорный «в настоящее время»...

А когда извозчик, вместо того чтобы дать седоку пятак сдачи, хлестнул свою лошаденку и умчался, Конрад Лилиеншвагер разражается скорбными строфами:

"Я подумал о том, как в Британии  
Уважаются свято законы,  
И в груди закипели рыдания,  
Раздались мои громкие стоны..."

Разве это не должно было казаться недостойной издевкой «рыцарей свистопляски» (термин Погодина)<sup>43</sup> над глубоко-похвальным стремлением насадить и развить в российских сердцах аглицкое чувство спасительной законности?

И разве – заметим мимоходом – не прямые потомки тех тихоходов усматривают подчас в критике современного земства осуждение «всяких принципов самоуправления», а в нежелании успокоиться в тихой обители малых дел – измену «священным традициям»?

Когда говорят о Добролюбове, то имеют в виду прежде всего критика. Против этого собственнo ничего нельзя сказать, ибо из всего наследства, оставленного нам этим писателем, наибольшую ценность имеют его критические статьи. Но известно ведь, что внешние условия часто загоняют в область публицистической критики писателей с самыми разнообразными «тяготениями». И можно с уверенностью сказать, что в двух наших величайших критиках – Белинском и Добролюбове – мы потеряли двух, может быть, еще более великих публицистов, пожалуй, даже блестящих общественных памфлетистов.

Белинский был наделен для такого рода творчества общественной чуткостью и пафосом захватывающей силы<sup>[28]</sup>, Добролюбов – редкой трезвостью мысли и убийственной иронией. Но обоим судьба проложила иную дорогу.

Достаточно прочесть напоенное ядом «Письмо благонамеренного француза Станислава де-Канарда» («Свисток» N 6) и блестящую параллель «Двух графов» (Кавура<sup>44</sup> и Монталамбера<sup>45</sup> в N 7 «Свистка»), чтобы понять, что мог бы дать Добролюбов, если бы условия позволили ему упражнять свое перо в этом направлении и, конечно, не на «выписном», а на материале «домашнего произрастания».

Не так давно один очень ученый человек (И. И. Иванов) сделал попытку воссоздать Добролюбова по образу и подобию своему. В результате этой неблагодарной операции «оказалось», что Добролюбов не в пример мальчишке Писареву является представителем золотой середины, идейной умеренности. Это Добролюбов-то, со своими сарказмами!..

---

<sup>43</sup> Погодин, Михаил Петрович (1800 – 1875) – историк, археолог и журналист, издатель «Москвитянина», органа правого крыла русских славянофилов. Неоднократно осмеянный в «Свистке» Добролюбова, он впервые пустил в оборот термин «свистопляска» для обозначения литературной манеры того времени.

<sup>44</sup> Граф Кавур (1810 – 1861) – итальянский государственный деятель. Будучи выразителем интересов либеральной буржуазии, Кавур стремился к объединению Италии дипломатическим путем. С целью получить поддержку Франции в этом вопросе он уступил ей Ниццу и Пьемонт. Его политика вызывала сильное негодование в кругах революционных демократов, которые стремились к объединению Италии снизу, революционным путем, в интересах широких народных масс.

<sup>45</sup> Граф Монталамбер (1810 – 1870) – французский политический деятель, глава воинствующей католической партии во время июльской монархии и республики 1848 г.



Бедный ученый! Он мог бы найти более благодарную фигуру для объективации собственного настроения...

Можно, впрочем, подумать, что Добролюбов предвидел появление своего глубокомысленного истолкователя, когда писал:

"... читатель ко мне благосклонен  
И в сердце моем он прекрасно читает:  
Он знает, к какому я роду наклонен.  
И лучше ученых мой свист понимает"<sup>[29]</sup>.

Да, современный «Свистку» читатель прекрасно знал, к «какому роду наклонен» Добролюбов. Но за читателя настоящих строк мы бы не рискнули поручиться: он – будем говорить правду – достаточно основательно позабыл всего Добролюбова, чтобы поверить самым убогим толкованиям добролюбовского «свиста». Чтобы избежать этого – средство одно: восстановить Добролюбова в памяти. Читатель получит от этого высокое наслаждение и убедится, между прочим, что «Свисток» сохранил свою свежесть до наших дней. И еще долго, долго он сохранит ее...

Можно с уверенностью сказать, что доколе время сохранит способность превращать живые идеи в пережитки, доколе узость и самохвальство будут эксплуатировать отсталость и невежество, как драгоценную «самобытность», доколе великий героизм на малые дела будет высоко нести свою голову, доколе ограниченность кругозора будет маскироваться двумя-тремя нарядными формулами, а провозглашение первоначатков дешевого либерализма будет считаться общественной заслугой, – до тех пор добролюбовский «свист» будет звучать не только как воспоминание, но и как поучение.

«Восточное Обозрение» N 253, 17 ноября 1901 г.

## Л. Троцкий. ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ

Больное, израненное сердце перестало биться. Умер Глеб Иванович Успенский.

Для нас, читателей, он умер уже давно, ибо последние годы его душа, его великая, его прекрасная душа была хаосом... И все-таки известие о его физической смерти отозвалось в груди острой, щемящей болью. Очевидно, где-то, в одном из уголков читательского сознания, жила – наперекор категорическому прогнозу медицины – туманная надежда на исцеление великой души, искалеченной кошмарным недугом. Верилось, верилось, – несмотря на протесты рассудка, – что проникновенная мысль художника еще пробудится от злых чар для творчества, что сердце, неистовое сердце, еще встрепенется для любви и страдания...

... Не сбылось...

Наследство, оставленное Успенским, колоссально.

Сколько в этих трех толстых томах большого формата, в две колонны<sup>[30]</sup>, сосредоточено глубоких мыслей и гениально-смелых обобщений, подлежащих еще усвоению и развитию, сколько страниц высокого художественного содержания, ждущих еще изучения и оценки, – и по всему этому широкому полю ослепительно сверкают разбросанные щедрой рукой блески юмора, точно золотые бабочки в лучах июньского солнца.

Общественная сфера художественных интересов Успенского крайне широка. Он начал с низов дореформенного города («Нравы Растеряевой улицы»), дал широкую картину «разорения» старых форм жизни («Разорение»), наметил «ищущие» и «жаждущие» типы разночинной интеллигенции («Наблюдения одного лентяя», «Тише воды»...), затем перешел к мужику, ставшему осевым стержнем его мыслей, чувств и писаний.

Но во всех областях, которыми владел Успенский по праву художественного захвата, он оставался верен себе: со страшной самоубийственной проникновенностью понимал жизнь, как она есть, и сгорал в огне порыва к жизни, как она должна быть.

Искал правду и находил ложь.

Искал красоту и находил безобразие.

Искал смысла и находил бессмыслицу.

И нужно сказать, что Успенский удивительно владеет искусством обнажать ее, эту дремучую бессмыслицу «растеряевского» существования! Один-два штриха – и незначительная сценка вырастает в символ жизни без смысла, поступков без идеи, слов без содержания, жестокостей без цели...

– Никольский, Егор Егорыч, знаете? так тот все просил, чтоб его в колодезь опустили в бадье.

– Зачем же?

– Уж и ей-богу даже совершенно не могу вам определить этого. (Т. I, стр. 154.)

Где уж тут «определить»! Правда, желание это более или менее безобидно, да и заявлено в пьяном виде, а потому бог с ним! Но вот послушайте, что рассказывает богомолка-странница. «Однако иду, вижу, едет верхом молодец какой-то... В поле дело было. Поравнялся со мной, говорит, кротко таково. – „Подойдите, говорит, старушка праведная!“ – Я подошла. Как он меня плетью вдоль всея спины. – „Поминай Петра!“ И ускакал. А я лежу на земли, охаю... (I, 168.)

Зачем, почему? Неизвестно. И замечательно, что этот «молодец какой-то» не лишен ни известной сообразительности, ни даже скромного юмора. Подозвал он богомолку «кротко таково», а затем, протянув ее «вдоль всея спины», предложил ей «помянуть Петра». Есть в

этом поступке, как видите, некоторая работа мысли, хитрости, сметки, юмора, – но нет главного: цели, резона...

Подобных «скверных анекдотов» у Успенского множество. Приведу еще один, поистине замечательный.

Дело происходит на пристани. Пришел сюда молодой парень в рваном полушубке не по росту, постоял минуты две-три, зевнул во всю мочь и не успел закрыть рот, как один из мужиков, «одетых в пинжаки», подошел к нему и так «двинул» в грудь обеими руками, что детина грохнулся на спину, высоко поднял ноги в лаптях, а шапка его далеко откатилась в сторону.

"Все дело, – говорит Успенский, – заняло не более двух секунд, но этот эпизод сразу возвратил меня к действительности. За что один «пхнул» другого? Я был уверен, что ни за что... Вероятно, поднявшийся с земли парень скажет:

– Ты чего пхаешь?

И, вероятно, пиджак ответит:

– А ты чего рыло-то выпер?

– Да мне Иван Митрича повидать надо, чорт этакой!

– Так ты и говорил бы толком, а не пер идиолом!

– Да еловая ты голова, ты бы спросил, а не пхал!

– Да наспрашиваешься вас тут, дьяволов!

После этого разговора, весьма вероятного, парень пойдет домой, а пиджак постоит, постоит и тоже пойдет домой. Итак, зачем же все это? «Ты бы спросил!» – ведь это, кажется, резонней? Но нет; этот эпизод тем и замечателен, что в нем «нет резону». «Пхнуть человека без всякого резону» – вот что есть обычное дело в океане нашей жизни и что страшней бездн настоящего океана". (III, 158.)

Все это, однако, лишь разрозненные эпизоды из царства жизни «без резона». Но прочтите «Нравы Растеряевой улицы», прочтите «трилогию» «Разорения» – это целая эпопея бессмысленной обывательщины, существования без цели и без разума, тягучей жизни людей, из которых душу «выели», – людей, лишенных «своих слов», чиновников, у которых в груди и в горле застряли номера циркуляров, купцов, неустанно грабительствующих и спящих на сундуках с ассигнациями, наконец, просто «бычачьих пузырей» вместо людей... Ужас! Ужас!

У растеряевских мастеровых – нужда и кабак, кабак и нужда с редкими промежутками «очумения». Единственный выход из этого адского круга для натур, наиболее решительных и талантливых, таков: «Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю, да, господи благослови, сам ему на шею сяду». (I, 7.) И, «натрафив», благополучно садится...

Уворовав, своевременно укрыть уворованное в недрах своей семьи – такова формула растеряевской практической морали. Весь мир, начинавшийся за порогом собственного дома, был собирательным врагом. Ограничение, какое встречали приемы всеобщей зоологической борьбы и универсального воровства, было чисто внешнее: всякий обыватель скорбно носил в груди своей образ официального кулака, настолько выразительный, что растеряевец чувствовал себя всю жизнь как бы лишенным всех прав. Единственным средством сносить голову была ложь, каверза...

Вне сферы разностороннего воровства, повального пьянства и лукавого отклонения от кулака дореформенной государственности интересы растеряевского духа направлялись на предметы совершенно исключительные: говорящая мышь, слон, летающий на воздушном шаре, или девица, проспавшая пять лет и затем внезапно разрешившаяся от бремени...

В этой подвальной атмосфере рождались, вырастали, женились, производили детей, умирали... И все это вместе называли жизнью.

Потом – севастопольская война. Надвинулось что-то новое, неоформленное, но тем более страшное и грозное. Началось господство всеобщей растерянности, недоумения, «конфуза». Недоволен купец, недоволен чиновник, недоволен «барин»...

Купец дореформенного склада фыркает на новые времена еще в более или менее определенных выражениях. «Нонешнее время, – говорит он, – не по нас... Потому нонешний порядок требует контракту, а контракт тянет к нотариусу, а нотариус призывает к штрафу!.. Нам этого нельзя... Мы люди простые... Мы желаем по душе, по чести». (I, 237.)

Но далеко не все ошарашенные «нонешним порядком», с его «контрактом», железной дорогой, «гласностью» и прочими бичами, умеют столь определенно формулировать свое «огорчение». Большинство «растеряевцев» имеет вид людей, которых кто-то пробудил от глубокого сна, огрев по затылку чугунным рельсом или деревянной шпалой...

«Железная дорога! Ну, что такое железная дорога? – говорит длинный и сухопарый чиновник Печкин, в непромокаемой шинели (которому, к слову сказать, железная дорога не причинила еще никакого вреда). – Ну, что такое железная дорога? Дорога, дорога... А что такое? В чем? Почему? В каком смысле?»... (I, 237.)

Тут уж, как видите, не хватает не только человеческих мыслей, чтобы отдать себе отчет в причинах всеобщего «разорения», материального и духовного, не только не находится настолько здравого смысла, чтобы поставить, ввиду непонятных, хотя и очевидных перемен, определенные вопросы, но нет даже слов для выражения непосредственных чувств... Есть какие-то междометия, восклицательные и вопросительные знаки, негодующее хрипение, спертое в зобу дыхание и в лучшем случае – нелепая словесная дребедень, без содержания, даже без внешней связи.

– Да-а, брат! – жалуется тот же чиновник, совершенно истерзанный новыми порядками. – Нынче порядки, брат, пошли совсем собачьи... Ты хочешь так, а тебе вот так!..

– Ты, например, – развивает ту же «мысль» собеседник, – этак вот имеешь желание, а на место того тебе делают так-то вот!.. (I, 285.)

И только. «Так», «вот так», «этак» «так-то вот» – вот и весь словарь всеобщего душевного обалдения и умственной ошарашенности...

«Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман... Вот какие феи стояли у нашей колыбели! И ведь такие феи стояли решительно над каждым душевным движением, чем бы и кем бы оно ни возбуждалось! Немудрено, что дети наши пришли в ужас от нашего унижительного положения, что они ушли от нас, разорвали с нами, отцами, всякую связь». (I, 192.)

К числу этих «детей» принадлежал и Успенский. Вполне понятно поэтому заявление, которое он делает в своей автобиографии: «ничем от этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое „будет“, но которое решительно еще неизвестно. Следовательно, начало моей жизни началось только после забвения моей собственной биографии, а затем и личная жизнь и жизнь литературная стали созидаться во мне одновременно собственными средствами»...

Тут словами Успенского говорит целое поколение, целое напластование: разночинная интеллигенция.

Она покинула кров отца своего и матери своей, она отреклась от традиций дедов своих и прадедов, она взяла в руки страннический посох и, согбенная под тяжестью добровольной исторической ноши – «долга», неоплатного долга народу, – она в темной ночи стала искать пути своего... Крестным оказался путь тот...

У Успенского есть сцена, которая так и просится в символ.

«Направо, на высокой горе, стоял город, весь в зеленых садах; налево, вдали, на краю низкого луга, где расположилась наша слобода, виднелась узкая полоска неширокой и неглубокой речки. Я мог бежать куда угодно, туда или сюда. Но фигура города – я очень помню это

– как бы оттолкнула меня... Я теперь могу объяснить этот толчок, который ощутило сердце при виде города, тогда я просто побежал со всех ног в другую сторону от него к реке. И с этого дня будущий путь моей жизни был решен». (I, 416.) Жребий брошен!

Это обращение к деревне, повторяю, не было индивидуальным: оно явилось как результат властного внушения эпохи.

Снизу, откуда-то из социальных глубин, вынырнул народ. Вынырнул всей своей массой, со своими нуждами и запросами, думами и тревогами. Вынырнул – и заполонил общественное сознание и взял под опеку интеллигентскую совесть.

Еще не так давно народ можно было рассматривать, с одной стороны, как немую рабочую силу, с другой – как чисто декоративную принадлежность ландшафта. На такой «барской» точке зрения стоял, напр., Гончаров.

«Простой народ – пишет он в предисловии к „Слугам“, – т.-е. крестьян, земледельцев, я видел за работами, большею частью, из вагона железной дороги. Видел, как идут наши мужики без шапок, в рубашках, в лаптях, обливаясь потом. Видел, как в Германии, с коротенькой трубкой в зубах, крестьяне пахут;... во Франции гомозятся на полях в синих блузах» и прочее, и прочее, и прочее.

И вдруг – почти вдруг! – такая поразительная перемена! Этот самый народ, который где-то над чем-то «гомозился» в рубашках, в лаптях, в плисовых куртках, в синих блузах, выдвигается ходом общественной жизни на авансцену и притом не принаряженный и напояженный балетмейстером для нарочитого случая, а так, как есть, со всем своим деревенским хламом, с онучами, артелями, податями, «полдушками», овчинами, круговой порукой, мякиной, общественными гамазьями, общинными порядками и волостной поркой...

«Подлинная правда жизни, – говорит Успенский в своей автобиографии, – повлекла меня к источнику, т.-е. к мужику».

Но до «источника», как до сказочной царевны, скрывавшейся в хрустальной горе, приходилось добираться через тысячи препятствий. Реальный мужик весь оказался облеплен сусальным золотом идеализации. Понятие народа разбухло от множества пропитавших его иллюзий, которые Левитов<sup>46</sup> с бесподобной прямою окрестил «неотразимым вздором».

Что есть мужик? Чем жива душа его? Что сообщает смысл его мужицкому бытию? Вопросы эти давно уже, до Успенского, были поставлены общественной мыслью, но решались они больше по вдохновению, чем путем углубления в действительность.

В чем корень гармонии крестьянского существования? В здравом смысле, – говорит один из щедринских «пустоплясов». В духе жизни и в жизни духа, – решают другие. В душевном равновесии! – возражают третьи. В привычке! – предполагают четвертые.

В нравственных устоях, в общинном духе, – заявляют более серьезные люди.

Нет! – возражает им Успенский; – корень всему – власть земли. Все, все элементы народной жизни и мысли – и «здравый смысл» и «душевное равновесие», и «жизнь духа», и «дух жизни», и «общинные устои» – определяются в основе характером земледельческого труда, властью земли. Все поступки мужика исходят от ржаного колоса, все мысли его состоят под контролем засеянной полосы.

«В условиях земледельческого труда почерпает он философские взгляды; в условиях этого труда работает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения, и из условий всего этого составляется взгляд на общую государственную жизнь». (II, 555. Курсив мой. Л. Т.)

---

<sup>46</sup> Левитов, Александр Иванович (1842 – 1877) – писатель-народник. Из его произведений наибольшим успехом пользовались «Степные Богатства».

«Оторвите крестьянина от земли, – говорит Успенский в другом месте, – от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, – добейтесь, чтоб он забыл „крестьянство“ – и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него». (II, 605.)

И в то же время Успенский понимал, всем своим огромным умом понимал, что цельности, гармонии крестьянского существования несет неминуемую гибель цивилизация. Каждый тульский самовар, каждый аршин линючего московского ситца играет роль бациллы, разлагающей натурально-хозяйственное тело крестьянства. И нет возможности предотвратить это нашествие бацилл цивилизации, и нет средств остановить его...

«... И выходит поэтому, – говорит Успенский, – для всякого, что-нибудь думающего о народе человека – задача, поистине неразрешимая: цивилизация идет, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествия, но еще, как уверяют тебя и как доказывает сам Иван Ермолаевич (чистый тип мужика), не должен, не имеешь ни права, ни резона соваться, ввиду того, что идеалы земледельческие прекрасны и совершенны. И так – остановить шествия не можешь, а соваться не должен!». (II, 559.)

Об острые грани этой «поистине неразрешимой задачи» Успенский и истерзал свою душу...

Вот почему «обращение к народу», которое другим давалось легко, Успенский оплачивал чистейшей кровью своих артерий. Вся жизнь его, эта прекрасная подвижническая жизнь, которую можно шаг за шагом проследить по главам его сочинений, была одно искание, нервное, жадное, истерическое, никогда не находившее удовлетворения, никогда не знавшее передышки... Стоило его мысли подойти к одной из тех иллюзий, в которых многие находили приют для лучших тяготений своей души, как интеллектуальная «совесть» писателя, чуткая, как лань, начинала бить тревогу. И снова вгонялись до крови шпоры сурового скептицизма в израненную душу художника, и снова перед нами головокружительная погоня за правдой и красотой жизни...

Если искать для Успенского аналогов в области нашей литературы, то придется остановиться на двух прекрасных образах: Белинского и Добролюбова. С первым Успенского роднит неизбывная тоска по идеалу, со вторым – сила неподкупного анализа, разъедающего все красивые иллюзии и «возвышающие» обманы. Наконец, им обоим Успенский близок по необыкновенной высоте, и чистоте, и напряженности нравственного настроения. Всю жизнь стремиться, всю жизнь искать... Только безумие, этот страшный посланник ада, одним слепым ударом положило конец напряженной мятежной работе творческого сознания.

А затем вступилась смерть, таинственная, как жизнь, и, как жизнь, жестокая, и оборвала его трагическое существование...

Холодное одиночество гроба да сырой мрак могилы скрыли от нас навсегда то, что было некогда Глебом Ивановичем Успенским.

«Восточное Обозрение» N 88, 18 апреля 1902 г.

## Л. Троцкий. О ГЛЕБЕ ИВАНОВИЧЕ УСПЕНСКОМ<sup>[31]</sup>

### I

Из народников-беллетристов, столь славных в свое время и столь основательно и, надо сознаться, справедливо забытых в эпоху литературной «смуты»<sup>[32]</sup>, один Успенский не будет снесен всепожирающим потоком новых общественных настроений и отражающих их литературных течений, – как драгоценный камень, он будет и будет чаровать игрой не тускнеющих от времени красок и огней. Единственный среди многих, мученик собственной бесстрашной мысли, он глядит скорбно-проникновенным взором через головы своих сверстников и единомышленников (единомышленников – по злой иронии общественных судеб) – в глаза будущему.

Тому поколению, к которому принадлежит автор этой работы, Успенский должен быть вдвойне дорог. Прежде всего потому, что его произведения представляют собою – к сожалению, крайне мало использованный в свое время – арсенал, содержащий богатейший выбор оружия для борьбы как раз с тем направлением, в которое условия общественности загнали самого Успенского. В этом его общественное значение, которое и будет, между прочим, выяснено в этой статье. Вторая причина особого значения Успенского для указанного поколения имеет – позволим себе такое выражение – лирический характер. Это требует пояснения.

Начало 90-х годов – духовные *Wanderjahre* (годы странничества) того течения, которое исторически и логически вытекло из народничества, вытеснив это последнее из сферы общественного сознания. Эти *Wanderjahre*, как всякое время душевного перелома, имели глубоко-драматический характер. То был момент ликвидации пришедшего в ветхость идейного инвентаря, когда многим приходилось отрывать от души старые догматы, из которых поток времени вымыл все реальное содержание, оставив лишь пустую, но родную душе оболочку. То был момент генеральной самопроверки, испытания привычных догматов при помощи иной доктрины. Эта самопроверка и это испытание обнаружили полнейшее духовное банкротство. С ужасом пришлось убедиться, что

"... не осталось слова,  
Которое б вконец не истрепалось,  
Свой истинный не потеряло смысл" -

пришлось убедиться, что ход общественного развития превратил в предрассудок обломки древней правды и из вчерашней истины сделал сегодняшнюю ложь.

Так называемая «перемена фронта» произошла на поверхностный взгляд чрезвычайно быстро и притом почти с механической простотой, по такой приблизительно программе: Маркс родил Бельтова, Бельтов родил свою книгу<sup>[33]</sup>, а от этой книги, если верить г. Михайловскому, «современная смута» стала есть. В действительности процесс был гораздо сложнее и мучительнее. Мы меньше всего склонны отрицать в изображаемом нами идейно-общественном процессе роль, скажем, той или иной книги, но все же, повторяем, это были только книги...

Когда этот процесс завершился, оказалось, что многие писатели, которые еще недавно, почти вчера, были тебе так близки, говорили одним с тобой условным языком и защищали неизменными аргументами столь дорогое пустое место, – эти писатели тебе чужды, не заражают тебя более своими сакраментальными «формулами», в которые некогда укладывалось и твое настроение, говорят не так, как ты, чувствуют не то, что ты, а главное, оказалось, что пустое место есть пустое место и больше ничего<sup>[34]</sup>.



И как отрадно было убедиться, что в пережитой беспощадной душевной ломке лучше всего уцелел Глеб Иванович Успенский. Этот неутомимый правдоискатель, столь близкий, столь родной до периода внутренней ревизии, стал после нее – для тех, кто к нему снова обратился, – вдвое дороже и роднее. Изменившееся настроение, новая точка зрения не только не нанесли ущерба его писательскому облику, но – напротив – помогли открыть в нем его истинный смысл и непреходящее значение; они показали, как этот рыцарь духа, по рукам и ногам опутанный сетями ложной общественной теории, умел завоевать для себя широкую свободу и в этих сетях; они осветили сложную и глубокую драму писательской души, которую стихийный ход общественного развития загнал в тупой переулочек.

Трудно назвать другого писателя, в котором столь страстное стремление понять жизнь, как она есть, проникнуть сознанием до ее основ, до сердцевины, сочеталось бы с таким жадным исканием правды в жизненных отношениях, с такой верой в необходимость воцарения красоты и гармонии человеческих отношений. Подобное сочетание художественной правдивости, исключительной ненависти ко всякой фальшивой идеализации, жажды проникновения в смысл действительности, словом, беззаветной любви к правде-истине, – со жгучим стремлением к гуманизации общественных отношений, с неугасимой потребностью веры в человека и его будущее, словом, с напряженной тоской по правде-справедливости, подобное, говорим, сочетание при иных общественно-исторических условиях могло бы стать залогом высокой духовной цельности, счастливой внутренней гармонии и радостной удовлетворенности... Увы! Глебу Успенскому две указанные стороны его духовной натуры не дали гармонии и удовлетворения. Властным велением жизни эти две основные движущие силы его души отделились друг от друга и постоянно тянули в противные стороны. Стоило этой измученной душе со своей тоской по идеалу ухватиться за одну из абстракций, которыми столь богато народничество, как проникновенное сознание художника указывало на истинный смысл абстракции, ее социальную природу и полное отсутствие в этой природе законных мотивов для идеализации. На помощь стоявшему на страже художественной правды сознанию приходил, чаще всего, юмор, которым Успенский был так богато наделен, который он так щедро расходовал, – приходил, и срывал покров обаяния с пустого места. Кто бы ни побеждал в этом трагическом междоусобии, изо дня в день совершавшемся внутри писательской души, жертвой борьбы всегда оказывался сам писатель, душа которого безжалостно разрывалась на части.

Характерная особенность письма Успенского, которая г. Михайловскому представляется как неразложимая «склонность»<sup>[35]</sup>, является на самом деле лишь симптомом внутреннего раскола. Доводя с беспощадной прямою диаметрально противоположные положения до «самых крайних логических концов», Успенский, конечно, не занимается диалектическими экзерсисами, он не применяет также этой манеры преднамеренно, для более яркого освещения вопроса, – он просто дает поочередно волю каждой из двух соперничающих «страстей» своей души, а сам присутствует на этом трагическом диспуте, истекая кровью и скрывая юмором от читателя – отчасти и от себя – свои терзания.

Писать о Глебе Успенском – трудное и ответственное дело. Многострунна душа этого писателя, многосложны его произведения. Тут, рядом с плодом художественной интуиции, возвышающимся до степени строго научного обобщения, стоит аналитическим путем добытый публицистический вывод, получающий немедленно художественное воплощение; тут беспощадно правдивые образы действительности и мучительные стоны души, поранившейся об острые выступы жестокой действительности; тут фальшивая публицистическая тенденция под ударами художественной правды и художественная правда в борьбе с жаждой правды общественной... и главное, все это, и заблуждение и истина, – сок нервов и кровь сердца; да простится эта заново найденная фраза! – да, Успенский имел несравненно больше прав сказать ее о себе, чем сам Берне! Понятно, значит, в какой мере наследство этого писателя требует бережного и внимательного к себе отношения.

## II

Жалеть ли о художественно-публицистической раздвоенности писательской деятельности Успенского? Мы затрудняемся ответить на этот вопрос категорически. Во всяком случае при решении его мы бы ни на минуту не упускали из виду, что, если бы Успенский оставался только художником, он не дал бы нам ни «Власти земли», ни «Разговоров с приятелями», ни очерков «Крестьянин и крестьянский труд», составляющих в совокупности художественно-публицистическую поэму мужицкой жизни, – поэму, с начала до конца выдержанную. Здесь все стороны крестьянского бытия и миропонимания выведены с любовной тщательностью из особенностей земледельческого труда, – и это тем замечательнее, что Успенский не только не соображался, как выражается г. Михайловский, ни с какими «доктринерскими мерками», но вряд ли и был сколько-нибудь близко знаком как раз с той доктриной, которую он с таким блеском иллюстрировал своим анализом мужицкой жизни и мысли.

Ярко выраженная тенденция в писаниях Успенского отмечалась критиками не раз. Одного из этих критиков г. Михайловский вразумляет: «Сам Успенский объяснил мужицкую психику не экономическими условиями, – по крайней мере, не ими на первом месте. Он говорит в очерке „Не суйся“: „При этом, во-первых, я должен был корнем этих влияний признать природу. С ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит“. И, например, дождь и бездождие, на которое указывает далее Успенский, имеют, конечно, очень важные экономические последствия, но сами-то по себе не суть экономические явления. Это, впрочем, мимоходом»<sup>[36]</sup>.

«Дождь и бездождие сами по себе не суть экономические явления»... Убийственно! Природа, как известно, вообще «сама по себе» не экономическое явление, а Успенский выводит психику мужика из его непосредственной зависимости от природы, в том числе от дождя и бездождия. Что же случилось при сей оказии с «экономическим базисом»? Но мы все-таки позволим себе спросить: окажут ли дождь или бездождие одно и то же влияние на земледельца-мужика и на свободного туриста, на петербургского писателя, проживающего на даче, и на фабричного рабочего? Конечно, нет. Чем же объясняется, что одно и то же явление – дождь, бездождие – производит на мужика совсем особое действие, исключительное и по размерам и по форме? Объясняется это, по Успенскому же, исключительно характером земледельческого производства. Дождю в той только мере дана власть формировать мужицкую душу, в какой он положительно или отрицательно фигурирует в земледелии, способствуя или препятствуя земледельческому труду на исторически данных технических основаниях. Почему природу надлежит признать «корнем» мужицкой жизни и мысли? Потому, что с ней, с природой, мужик «делает дело, непосредственно от нее зависит». Мы с г. Михайловским «не делаем с природой дела», непосредственно от нее экономически не зависим, а потому и не можем называть ее своим «корнем». Дождь сам по себе, действительно, не экономическое явление... Но «дождь сам по себе» не играет никакой роли: он властен над крестьянской душой постольку, поскольку он нужен для овса и сена.

Если бы Успенский сказал, что обилие или недостаток влаги создают различные температуры, вообще – психические типы, которые и проявляют себя в разных типах производства, общественного строя и т. д., тогда победоносное замечание г. Михайловского, что дождь и бездождие не суть экономические явления, имело бы смысл. Но ведь Успенский учитывает влияние дождя исключительно с точки зрения его отношения к производственному процессу на данных технических основаниях и поясняет свою мысль такой превосходной иллюстрацией: он мысленно вводит паровой плуг в крестьянское производство; в числе прочих замечательных результатов оказывается: «Так как плуг вздирает землю и в дождь и в грязь, то количество восковых свечей должно несомненно убавиться». (II, 557.) Ясно? Дождь и бездождие сохраняют

прежнее соотношение. Изменилось лишь одно из технических оснований земледельческого процесса, – вместе с тем изменяется влияние дождя на мужицкую психику<sup>[37]</sup>.

Что сказать о писателе, который после столь продолжительной, шумной и многословной полемики обнаруживает столь вопиющее непонимание азбуки разбираемых им вопросов? Но поищем смягчающих вину обстоятельств. Они под рукою. Г-на Михайловского соблазнили в приведенной им цитате наличие слова «природа» и отсутствие упоминания об «экономике». Конечно, если бы Успенский сознательно руководствовался доктриной, он избег бы той формулировки, которая смутила его комментатора. Но не говоря о том, что смысл и этой неудачной формулировки вполне ясен, если отнестись к ней не с фразеологической поверхностностью, а с «вдумчивым вниманием», – у Успенского та же основная мысль выражена десятки раз гораздо яснее и научнее. Напомним г. Михайловскому.

"Множество явлений русской жизни, – говорит Успенский, – русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво, ложно, и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом. (II, 544.)

А вот особенно поучительная цитата (с несущественными сокращениями). "Построенное на таком прочном, а главное, невыдуманном основании, как веления самой природы, мирозерцание Ивана Ермолаевича, создавшее на основании этих велений стройную систему семейных отношений, последовательно, без выдумок и хитросплетений, проводит их и в отношениях общественных... Требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов, объясняются и общинные земельные отношения... Эти же сельскохозяйственные идеалы – и в юридических отношениях... Объяснения высшего государственного порядка также без всякого затруднения получаются из опыта, приобретаются крестьянином в области только<sup>[38]</sup> сельскохозяйственного труда и идеалов". (II, 553.)

Из этой важной для нашей задачи цитаты, в которой в качестве всеопределяющего начала сперва называются «веления самой природы», а далее «только условия земледельческого труда и земледельческих идеалов» (из того же труда, как показывает Успенский, вытекающих), ясно, как солнце полудня: во-первых, что для объяснения крестьянской жизни Успенский пользуется «природой» и «экономикой» безразлично; во-вторых, что, по Успенскому, «веления самой природы» учитываются крестьянской психикой ровно в той мере, в какой они учитываются земледельческим трудом. Из множества относящихся сюда разъяснений Успенского, одно другого убедительнее, приведем еще только одно:

"... Когда мне пришлось... показать значение земли, земледельческого труда и морали, заимствованной непосредственно от природы (благодаря этому труду)<sup>[39]</sup>, в области проявлений народного духа – задача моя вдруг приняла размеры неподобающие, огромные. Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные заботы и т. д. и т. д. – словом все стороны народной жизни оказались проникнутыми этими влияниями и моралью труда земледельческого, во всем оказался его след, везде стала виднеться черта, начало которой – в поле, в лесу..." (II, 654; см. еще 655, 671.)

Мы назвали соблазненное г. Михайловского выражение Успенского неудачным. Сделаем пояснительное ограничение. Одна из возможных и для нашего случая наиболее пригодных формулировок «исторического материализма» гласит, что основным моментом социальной эволюции является степень власти человека над природой или степень зависимости человека от природы. Эти «степени» определяются, конечно, уровнем развития производительных сил. Поскольку приводимое г. Михайловским утверждение Успенского, что «корнем» надлежит признать «природу», подчеркивает зависимость мужика от стихийных сил природы, от «власти земли», вследствие низкого уровня производительных сил, постольку неудачная формула Успенского приемлема. Но не более того<sup>[40]</sup>.

Итак, «корнем» крестьянского существования надлежит признать природу, т.-е. земледельческое производство на первобытной технической основе. Из этого «корня» вытекают и гармония, и легкость, и справедливость крестьянской жизни, словом, все те качества, которые делали ее в глазах Успенского самым совершенным типом человеческого существования. Как же относился, в таком случае, Успенский к освобождению крестьянина от власти земли? Как он относился к технике?

### III

Отношение публициста, болеющего болями своего времени, ищущего разрешения проклятых вопросов «жизни и духа», к технике, к *primus movens* (первому двигателю) социального развития, является – с точки зрения нашего миропонимания – вопросом основным.

По отношению к тому направлению, которое известно под именем народничества, вопрос этот необходимо должен предьявляться в двух формах: 1) в абстрактно-логической: каково отношение писателя к технике вообще, к технике, как к орудию власти общественного человека над природой, и 2) в конкретно-исторической: каково отношение писателя к технике в той социальной форме, в которой техника в последнюю историческую эпоху развивалась. Конечно, в настоящее время слишком ясно, что практическое значение имеет лишь второй вопрос. Но в свое время и первый вопрос имел громадное значение.

В народничестве были две стороны: 1) оно было протестом против надвигавшегося капитализма, 2) протест этот опирался на натурально-хозяйственное крестьянство. Хотя это лишь две стороны одной и той же монеты, но разные народнические течения поворачивали монету разными сторонами: то «орлом», то «решеткой». Одно течение видело главную задачу в изыскании средств перехода к высшим формам общественности, минуя капиталистическую стадию развития, при чем община и артель, как и все элементы народно-хозяйственного уклада, ввиду заключающейся в них силы сопротивления капитализму, должны были служить средством, полем опоры для интеллигентских усилий; другое же – подчеркивало правду натурально-хозяйственного обихода крестьянской жизни, в самом себе заключающего свою цель и требующего лишь ограждения от внешних вредоносных влияний. В то время как последнее течение изнывало в прожектерстве и пером Юзова<sup>[41]</sup> создало курьезную реакционно-народническую философию, – первое специализировалось на критике буржуазной культуры с голоса западно-европейской литературы и не хотело капитализма нигде – ни в городе, ни в деревне. Юзов и Михайловский являются, пожалуй, крайними литературными выразителями этих двух течений. Разумеется, тут была масса переходных ступеней. Да и в самом Михайловском сидел Юзов, только окончательно расплывшийся в абстрактных формулах и нередко сам пугавшийся собственной конкретной физиономии.

Отношение первого из намеченных народнических течений к технике может быть формулировано приблизительно так: «Мы» принимаем технику, поскольку она означает возрастание человеческого могущества, но мы отказываемся от нее, поскольку она создает ту форму оседлания бесчисленных человеческих хребтов, которая называется вольным наймом. «Мы» отказываемся от капиталистического типа развития производительных сил и требуем этого развития внутри общинно-артельных отношений, словом, мы не восстаем против нарастания общественного «постоянного капитала», но он должен быть не буржуазным, а общинно-артельным, его задача – не создавать прибыль капиталовладельцу, а экономизировать рабочую силу хозяев-производителей.

В такой абстрактной формулировке отношение народников к технике логически приемлемо: пусть оно практически бесплодно, так как не указывает тех общественных сил (кроме пресловутого «мы»), тех реальных средств (кроме благопожеланий), посредством которых можно было бы вогнать развивающиеся производительные силы в рамки общины и артели,

вогнуть так, чтобы эти силы не расперли, не разорвали в клочья навязанной им оболочки; пусть оно, это народническое отношение, даже реакционно, – но все эти черты – практическая бесплодность и общественно-историческая реакционность – обнаруживаются лишь тогда, когда мы подвергаем народническую формулу эмпирической проверке путем подстановки в нее реальных социологических моментов; в своей же абстрактной форме она не заключает в себе логических противоречий, и пока реальная жизнь не развила этих противоречий до грубой наглядности, интеллектуальная совесть народничества могла оставаться спокойной.

У Успенского же самая постановка вопроса бесконечно усложняется. Начать с того, что Успенский совсем не верил в единоспасающее значение общины и артели, что они для него были всегда явлениями вторичного порядка и чисто служебного, второстепенного значения. Община получает свое существование, свой смысл и свое значение опять от власти земли, от земледельческого труда<sup>[42]</sup>. Не община или артель придают цельность и красоту крестьянской жизни, не они вносят гармонию и правду в отношения между мужем и женой, родителями и детьми, не они, словом, сообщают смысл всему существованию, а крестьянский труд, неизбывный, нескончаемый земледельческий труд под мудрой опекой «матери-земли», – труд, который, с одной стороны, отнимает у крестьянина все время, заполняя собою все поры его существования и его мышления, лишая его всякой свободы и личной инициативы и тем сообщая необыкновенную «легкость» его существованию, а с другой – позволяет ему ни от кого не зависеть, быть самому себе и слугой и хозяином, сочетать в своем лице все отрасли производства, необходимые для поддержания человеческой жизни. Но если так, если в основе правильной крестьянской жизни лежит не община, а власть земли, тогда задача сводится не к тому, чтобы вдвинуть рост техники в общинно-артельные рамки, а к тому, чтобы примирить его с властью земли. Но такая задача уже логически нелепа: она требует, чтобы растущие производительные силы, задача которых – подчинить природу человеку, мирно уживались с абсолютной властью земли над человеком.

Если с точки зрения вышеприведенной ординарно-народнической формулы могло быть желательным невозможное практически, но приемлемое логически превращение поземельной общины в земледельческую «фабрику», без капиталиста-хозяина, с равноправными общинниками-производителями, с высоким «органическим составом» общинного капитала, т.-е. с самым широким применением наиболее усовершенствованных машин, создающих громадную экономию рабочей силы, – то с точки зрения Успенского такое превращение раскрыло бы самые безотраднейшие перспективы. Пусть эта кооперативная земледельческая фабрика оставляла бы нетронутой общину, – что из того? Ведь она в корне подрывала бы «власть земли», так как человеку пришлось бы охаживать не землю, а машину, что нивелировало бы столь важную для Успенского разницу между трудом земледельческим и неземледельческим. Далее. Применение усовершенствованных машин, экономизирующих человеческую силу, создавало бы досуг, требующий заполнения, вызвало бы новые потребности, требующие удовлетворения, – и этих «заполнения» и «удовлетворения» пришлось бы по необходимости искать вне земледельческого труда, вне сферы труда вообще. Это в корне подрывало бы ту цельность и внутреннее единство, которые сообщает крестьянской жизни земледельческий труд, проникая всюду, заполняя все поры и определяя все частности. Наконец, если «настоящий», «непопорченный цивилизацией» мужик – «все сам», «ни от кого не зависит» и пр. и пр., то мужик-соучастник земледельческой «фабрики» этого про себя сказать не сможет: машины сам не сделаешь, да и с готовой уже машиной не всякий, конечно, мужик справится: машина требует специалиста. Возникнет, следовательно, разделение труда, это «проклятие», тяготеющее на «культурном» обществе.

В то время как в лице г. Михайловского народничество расплывалось в такие бездонные историософические формулы, в которых можно было утопить и общину, и технику, и многое другое, без надежды что-нибудь извлечь из них для практики текущего дня, в лице Успенского

оно останавливалось перед альтернативой: земледельческая «правда» или техника, – в мучительном раздумье, без разрешения и без надежды на разрешение вопроса. Свидетельствуя, что Успенский далеко оставлял позади себя своих единомышленников по части проникновения в глубину указанной трагической альтернативы, эта позиция доставляла, однако, самому Успенскому одни муки и терзания.

Успенский нигде категорически и безусловно не говорит, как он относится к развитию техники, хотя десятки раз подходит к вопросу с разных сторон, – и вовсе не потому он не решается отказаться от «язвы-цивилизации» в пользу нецивилизованной крестьянской «правды», что дорожит «этикеткой прогрессиста», как думает г. Е. Соловьев<sup>47</sup>, а потому, что Успенский сам был прежде всего человеком культуры, народником, а не «народом», и понимал всем своим громадным умом внутреннюю связь этой культуры с теми условиями, которые ему так страстно хотелось разрушить и проклясть. Вот что говорит об этом сам Успенский... "Я валю к его (мужика) ногам всю<sup>[43]</sup> цивилизацию всех веков и народов и изображаю ее так, что иначе, как «паршивую», наименовать ее невозможно... В приведенном образчике под цивилизацией поименованы кабаки, извозчики, пьянство, наклонности к разрушению семейных порядков, показано, что от «цивилизации» Алексей бьет жену и т. д. Словом, взято множество свинств, и все они наименованы цивилизацией, которая поэтому сама собой уже оказывается свинством... И, однако, ведь говоря по совести, я знаю же, что и цивилизация выдумала массу добра для человечества; ведь по сущей совести я знаю, что моя-то личная жизнь значительно облегчена, услажена, благодаря этой настоящей цивилизации"... (II, 587; курсив мой. Л. Т.) Но эта же цивилизация, точно ураганом, сносит устои земледельческой правды. Что делать? Что делать?

#### IV

Прочитайте следующие строки: "На том самом месте, где Иван Ермолаевич («подлинный» крестьянин-земледелец. Л. Т.) «бьется» над работой из-за того только, чтобы быть сытым, точно так же бились ни много, ни мало, как тысячу лет, его предки и, можете себе представить, решительно ничего не выдумали и не сделали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть «сытым»... «Хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь... Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроезное болото, через которое можно перебираться только зимой, и, как мне кажется, Иван Ермолаевич оставит своему мальчишке болото в том же самом виде. И его мальчонка будет вязнуть, „биться с лошадей“ так же, как бьется Иван Ермолаевич»<sup>[44]</sup>. (II, 530, 531.) Эти строки, далеко не единственные у Успенского, ничего не оставляют желать по определенности мысли и яркости изображения: низкий уровень техники, рутина хозяйственных приемов кошмарным гнетом тяготеют над подлинно-крестьянской жизнью Ивана Ермолаевича. Только всемогущая «формула прогресса» может родить в этих условиях разностороннюю человеческую индивидуальность; подлинная же крестьянская жизнь ничего об ней не знает. «Посмотрите, в самом деле, – продолжим мы словами Успенского, – что это за жизнь, и посудите, из-за чего человек бьется... Летом с утра до ночи без передышки бьются с косой, с жнивом, а зимой скотина съест сено, а люди хлеб, весну и осень идут хлопоты приготовить пашню для людей и животных, летом соберут, что даст пашня, а зимой съедят. Труд постоянный, и никакого результата, кроме навоза, да и того не остается, ибо и он идет в землю, земля ест навоз, люди и скот едят, что даст земля». Поистине страшно!.. «Меня и поражает, – продолжает автор, – бесплодность труда, бесплодность по отношению к человеку (курсив Успенского), к его слезам, радостям и к

<sup>47</sup> 47 Соловьев Г., – писатель-публицист, сотрудник «Русского Богатства».

зубовному его скрежету. Именно в человеческом-то смысле или, говоря точнее, „в расчете-то на человека“, бесплодность неустанного труда оказывается поразительной. Как бы пристально ни вглядывался в него, как бы ни ужасался его размеров, – я решительно не вижу, чтобы в глубине этого труда и в его конечном результате лежала мысль и забота о человеке, в размерах, достойных этого неустанного труда». (II, 529, 530.) Далее следует мастерская иллюстрация «невнимания к человеку», которую я с горячим сожалением опускаю, отсылая читателя к самому Успенскому.

Где же выход из этого бесстрастного «севооборота» жизни, в котором человек так фатально переплетается с навозом? Выход один: в повышении власти над природой. Необходимо, как говорит сам Успенский, «сократить те невероятные размеры труда, поглощающего всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестьянине таким тяжелым и, как мне казалось (и кажется), бесплодным бременем» (II, 529.) Призывает ли Успенский к сокращению труда и облегчению бремени с надлежащей решительностью? Нет! Отказывается ли он от них категорически? Нет! Тут его бесстрашная мысль защемляется тисками рокового противоречия. Непосредственно почти после мыслей об отсутствии в крестьянской жизни определенной границы между человеком, овсом и навозом, Успенский высказывает такие соображения: «Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений, частных и общественных». (II, 544; Курсив мой. *Л. Т.*) Как неожиданно грубо-суровая, навозная проза жизни окрасилась поэзией и многосторонностью. Но это не все: оказывается, что «огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душой, мужественно-сильна и детски-кротка... покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность послушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование»... "в этой-то массе тяготы"<sup>[45]</sup>, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная легкость существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня любит мать сыра-земля». (II, 605, 608.)

Но если так, то основательно ли автору «казалось и кажется (!)», что тяжкий, заполняющий все поры мужицкой жизни и мысли труд лежит на Иване Ермолаевиче «бесплодным бременем»? Не правильнее ли эту «массу тяготы», в которой заключается «необыкновенная (поистине необыкновенная!) легкость существования», признать благодетельной, а не бесплодной? И не братоубийственно ли по отношению к мужику призывать облегчение этого бремени?

В самом деле, каков будет дальнейший результат этого облегчения? Что будет, ежели «ядовитая цивилизация вломится в наши палестины, хотя бы в виде парового плуга?.. Произойдет опустошение во всех сферах сельскохозяйственных порядков и идеалов, а на место разрушенного ничего не поставится нового и созидającego». (II, 557; курсив мой. *Л. Т.*) "Оторвите крестьянина от земли... – говорит Успенский в другом месте – и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», т.е. неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»... (II, 605.)

Логически развивая свою мысль, Успенский приходит к такому вполне последовательному выводу: "...Для сохранения русского земледельческого типа, русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений, необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделяющие ситец, железные дороги... (и пр., и пр.). Все это необходимо смести с лица земли, для того чтобы

Иван Ермолаевич, воспитавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший целый, особый от всякой цивилизации, своеобразный «крестьянский» мир, мог свободно и беспрепятственно развивать (сохранять неизменными? Л. Т.) эти своеобразные начала"... (II, 559.)

Нужды нет, что Успенский считает эти требования невыполнимыми и называет их «легкомысленными», – ведь от этого он не перестает отчетливейшим образом понимать и помнить, что их действительно необходимо выполнить, чтобы спасти Ивана Ермолаевича: иначе – смерть. Понимает и помнит – и вместе с тем даже теоретически не решается осудить на гибель «всю цивилизацию всех веков и народов». Он доводит свою (именно свою) мысль с героическим бесстрашием до ее крайних выводов и... застывает в трагическом недоумении. Что делать? Что делать?

## V

Но этим противоречия не исчерпываются.

Возьмем того же подлинного мужика – на этот раз не Ивана Ермолаевича, а толстовского Платона Каратаева<sup>[46]</sup> – и посмотрим, «какие же это типические, наши народные черты?»... «Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких, но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком»... " ... Эта, не имеющая смысла, жизнь, – комментирует Успенский, – не любя никого отдельно, ни себя, ни других, годна на все, с чем сталкивает жизнь... Все может сделать Платон: «возьми и свяжи»... «возьми и развяжи», «застрели», «освободи», «бей» – «бей сильнее» или «спасай», «бросайся в воду, в огонь для спасения погибающего», – словом, все, что дает жизнь, все принимается, потому что ничто не имеет отдельного смысла, ни я, ни то, что дала жизнь"... (II, 673.)

Да, все может сделать Платон: и развязать, и связать, и утопить, и спасти утопающего. В этом и состоит (по Марксу) идиотизм той жизни, которая создала и воссоздает Платона. Пока Платон мог жить и жил жизнью замкнутой в себе общины, до тех пор «идиотизма» не было: внутри общины все было пригнано, «как в галке», одно к одному, все было связано, цельно, уместно. С нашей точки зрения, мы, конечно, не можем видеть в этой зоологической цельности и законченности ничего привлекательного, заманчивого, обещающего успокоение и исцеление истерзанной душе. Но дело не в этом, а в том, что, с тех пор как русская земля стала есть, община входила в состав общегосударственной жизни, служа ей фундаментом. И в тех именно отношениях, в какие становится крестьянин к миру, начинающемуся за деревенской околицей, проявляется во всем своем грозном смысле особенный характер его жизни. Природа «учит его признавать власть, и притом власть бесконтрольную, своеобразную. Терпи, Иван Ермолаевич. И Иван Ермолаевич умеет терпеть, терпеть не думая, не объясняя, терпеть беспрекословно». (II, 546, 547.) «В результате ржаной науки – „повинуйся“ и „повелевай“ до такой степени прочно вбиты природою в сознание Ивана Ермолаевича, что их оттуда не вытащишь никакими домкратами». (II, 549.)

Итак, ясно: наука ржаного поля годна и применима, цельна и даже привлекательна – в пределах практики ржаного поля, но и только... «Иван Ермолаевич, безропотно покоряясь напору чуждых ему влияний и в то же время упорно стремясь осуществить свои земледельческие идеалы в том самом виде, в каком они были выработаны при отсутствии давления нового времени, чувствует себя весьма нехорошо и вырабатывает – конечно, будучи в этом вполне невиновен – взгляды на окружающее вполне непривлекательные». (II, 559; курсив мой. Л. Т.)

С одной стороны, «зоологическая правда» крестьянской жизни является для Успенского единственным прибежищем, единственной надеждой, единственным оазисом среди безбреж-



ности всечеловеческого зла и насилия; мирозерцание «десятков миллионов, ежедневно слушающих мать-природу», есть единоспасающее мирозерцание; промотать этот драгоценный перл значит ввергнуть себя в бездну полного социального и морального банкротства. С другой стороны, оказывается, что единоспасающий тип крестьянского мирозерцания, воспитанного под командой «травки зелененькой», имеет свой необходимый «корректив» в типе «хищника для хищничества».

Где же выход? Остается, очевидно, либо героически отказаться от зоологической правды «ржаного поля» со всеми необходимо дополняющими, но отнюдь не украшающими ее правовыми и иными явлениями, – и поискать выхода где-нибудь за пределами крестьянского жизненного уклада, либо принять его со всем тем, что – по словам самого Успенского – необходимо из этого уклада вытекает. Успенский не остановился ни на одном из них: он призвал на помощь народническую утопию. Необходимо сохранить уклад земледельческой жизни во что бы то ни стало, но вместе с этим необходимо освободить этот уклад из-под гнета «хищников и виртуозов терзания». Кто же совершит это трудное дело? Сам крестьянин, представитель правды земледельческого труда? Куда уж! Но если не крестьянин, то кто же? Не сам ли виртуоз хищничества откажется от своего растленного ремесла и, подобно волку райских селений, мирно возляжет рядом с овцою? Но на такую чудесную метаморфозу надежды, разумеется, еще менее. Остается поискать «способов» вне обеих заинтересованных групп. Но где именно?

## VI

Интеллигент – не в нем ли спасение? Интеллигент взвалит на спину свою тяжелую ношу истории и, обливаясь потом и кровью, внесет эту ношу в нагорное царство идеала.

Человеку «бессознательной правды земледельческого труда» со всею силою своего убеждения он скажет: ты владеешь величайшим сокровищем, ты представляешь собою «образцовейший тип существования человеческого», но ты не сознаешь этого и рискуешь легкомысленно промотать свое бесценное достояние. Сознай это! Пойми, что в случае такого мотовства тебе грозит утрата гармонии и чистоты духа, зависимости от того громадного, сложного и беспощадного чудовища, которому имя общество, наконец, утрата самого важного, самого ценного – смысла жизни, который в труде и ни в чем ином помимо труда. И еще многое, столь же прекрасное и высокое, столь же утопическое и противоречивое скажет он человеку земледельческого труда, коллективному Ивану Ермолаевичу. Что услышит он в ответ?

– Не суйся!

Только. "Но это «только» имеет за себя вековечность и прочность самой природы. Но этим кротким ответом интеллигенту Иван Ермолаевич может ограничиться единственно только по своей доброте; ежели же он человек не с слишком мягким сердцем, то ответ его должен непременно выразиться в предоставлении этого самого интеллигента к «начальству», не как злодея, а просто, как сумасшедшего пустомысла, который болтает зря ни весть что и своими пустомысленными разговорами может вредить в таких делах, в которых не смыслит ни уха, ни рыла, полагая, что в делах этих можно что-нибудь изменить, тогда как Ивану Ермолаевичу доподлинно известно противное, что ничего тут изменить невозможно и что вообще «без этого нельзя». (II, 550.)

Г-н Михайловский думает, что не только во внутреннем характере условий крестьянской жизни лежит причина грозного «не суйся», которым Иван Ермолаевич ошарашивает интеллигентскую душу, но и в том роковом противоречии, которое раскалывает самого интеллигента надвое. Вот, впрочем, подлинные слова г. Михайловского: "по-видимому, «не соваться» цивилизованному человеку следует не только потому, что крестьянскую массу одолевает «деревенский идиотизм», а и потому, что сам он, цивилизованный человек, «расколот надвое гуманизмом мыслей и дармоедством поступков»; значит, будь его внутренний склад иной, он, может

быть, и имел бы право и возможность «соваться»... («Русское Богатство», 1900, XII, «Мой промах», стр. 164.)

Мы только что слышали, что «Ивану Ермолаевичу доподлинно известно, что ничего тут изменить невозможно» – совершенно независимо от интеллигентской расколотости. Послушаем Успенского далее. «Войдя в этот мир и вполне проникнувшись сознанием законности и непреложности всего существующего в нем, посторонний деревне, хотя бы и озабоченный ею человек, должен невольно оставить свою фанаберию, и если он не сумеет думать так, как думает Иван Ермолаевич, и притом не убедится так же, как убежден Иван Ермолаевич, что иначе думать при таких-то и таких-то условиях невозможно, то решительно должен оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной». (II, 554; курсив мой. Л. Т.)

Ясно, значит, что «расколотость» интеллигентного человека не при чем. Корень в том, что «иначе думать при таких-то и таких-то условиях невозможно», в силу чего приходится «оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной». (У Успенского период построен неправильно, но мысль ясна.) Более того, «расколотость» и давала интеллигенту еще некоторую надежду приблизиться к Ивану Ермолаевичу: не чувствуя под своим гуманизмом прочной почвы поступков, интеллигент обращался за «почвой» в сторону Ивана Ермолаевича. Будь интеллигент «целостен» на своем месте, – между ним и мужиком не только не было бы точек соприкосновения, но и стремления найти их.

Если Успенский отчетливо показал, что интеллигент встречает на своем пути негостеприимное «не суйся» вовсе не в силу его интеллигентской расколотости, а по той причине, что его идеи (сожительство ли они с поступками, или остаются вечными девами, это, – с точки зрения вышеприведенных объяснений Успенского, – совершенно безразлично) «выработаны на почве совершенно иной»; если, говорим, Успенский обнажил это всем своим изумительным анализом «севооборота» мужицкой жизни, то это не мешало ему, в целях искреннего интеллигентского самообличения, морального самоистязания, – с явной, разумеется, непоследовательностью – взвалить весь «грех» на свою интеллигентскую душу. *Mea culpa! Mea maxima culpa!* (Моя вина! Моя великая вина): Я расколот, я негоден!..

Спасается ли этим что-нибудь? Открывается ли впереди просвет? Исследуем вопрос."... Будь его внутренний склад иной, он, может быть (может быть? – экивоки, экивоки, г. Михайловский! Л. Т.), и имел бы право и возможность «соваться», осторожно намекает нам г. Михайловский и затем обходится посредством «фигуры умолчания» с такой же легкостью, как Н-ские дамы обходились посредством платка. Сталкиваясь лицом к лицу с кардинальной практической проблемой, г. Михайловский по своему обыкновению оставляет решение в тумане догадок. По «внешним» причинам? Не только: в г. Михайловском теоретический «социолог» всегда несколько пугался собственной практической физиономии. И в этом случае, как в прочих, г. Михайловский открывает лишь самое «интересное» и, бессознательно подражая грации все тех же Н-ских дам, хочет заставить нас думать, что наиболее пикантное скрывается за изящной драпировкой пустопорожних абстракций и бессодержательных условностей. Но из-за этих, недостойных публициста, преследующего определенную общественную, а не фразеологическую цель, пустых условностей («будь его внутренний склад иной... может быть»...) на нас продолжает глядеть ни на миллиметр не продвинувшаяся вперед практическая проблема.

Пусть г. Михайловский прав. Но где же решение вопроса? Где те реальные, существующие на земле, а не в условных фразах, силы, влияния или условия, которые сделают душу Ивана Ермолаевича восприимчивою к «гуманизму мыслей» фактически связанному (худо ли это или хорошо) с «дармоедством поступков»? Или: где те реальные силы или влияния, которые способны заполнить зияющую бездну между «размышлениями и беспокойствами» интеллигентного человека и соответственными поступками?

Задача получается поистине неразрешимая. Чтобы обрести целостность, чтобы заполнить бездну несоответствия между идеалом и общественной наличностью, оказывается необ-

ходимым оплодотворение «гуманства мыслей» трудовой практикой мужицких будней. А между тем эта устойчивая и суровая практика настоятельно рекомендует «не соваться». По рекомендации г. Михайловского остается начать с противоположного конца: предварительно привести в опрятный вид собственную свою интеллигентскую физиономию, произвести «своим средством» поступки, соответствующие мыслям, а затем, в лучезарном сиянии своей «цельности», направиться напрямик к Ивану Ермолаевичу, который, будем надеяться, встретит тогда интеллигента хлебом-солью...

## VII

Чтобы разобраться в этой путанице намеков, неясностей и условностей, необходимо прежде всего поставить вопрос: о какой «расколотости» идет собственно речь у Успенского и, затем, у г. Михайловского? По отношению к занимающему нас вопросу надлежит различать два вида расколотости интеллигентского духовного естества. Только это различие может нас вывести из дремучих дебрей абстрактно-публицистической фразеологии.

Расколотость N 1. В превосходном маленьком очерке «Прогулка» (I, 791) гуманнейший акцизный чиновник, с живым и просвещенным вниманием следящий за «самыми последними номерами журналов», с нетерпением ожидающий, когда, наконец, во Франции вспыхнет революция («Давно пора!»), поражающий молодого риторика, исключенного из семинарии, своим передовым «умонаклонением», подводит спокойнейшим и коварнейшим образом под горькую беду семейство мещанина Гаврилы Кашина, торгующего вином без патента... В интимной беседе, в тужурке и туфлях, образованный человек занимается самообличением и самоуничтожением, готов «проклясть себя, осрамить себя», а мужика возвести в перл создания. Но стоит образованному человеку облачиться в мундир, в фуражку с околышем и кокардой, как он уже почти стихийною силою своего общественного положения начинает совершать такие поступки, от которых дым идет коромыслом. Такая «расколотость», в сущности очень поверхностная, действительно довольно широко распространена. Но об ней и разговаривать не стоит.

Расколотость N 2. Какой-либо прогрессивный деятель, даже всецело отдавая душевные силы практике общественной борьбы, в своей личной жизни необходимо подчиняется обиходным условиям: покупает и продает, нанимает и нанимается, служит в банке и т. п. Его оправдание – если он в этом нуждается – в том, что нельзя себя, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить за волосы из окружающей социальной обстановки. Эта двойная бухгалтерия тоже свидетельствует, если угодно, о «расколотости»; но это уж, очевидно, расколотость иного рода.

Слишком ясно, что та группа, от имени которой говорит Успенский, может быть отнесена лишь к нашей второй категории. Между тем Успенский в исступленном самообличительстве берет себя за общую скобку. "Что бы мне стоило, – восклицает Успенский, – если уж я так раскаялся чистосердечно, проклясть себя в самом деле, сказав, например: «я – бессовестный человек, потому что знаю очень много секретов, которые бы улучшили жизнь Ивана Ермолаевича, но, мол, бессовестность запрещает мне их открыть ему; он тогда плюнет на меня и уйдет, а мне надо, чтоб он секретов-то не знал и работал на меня. Этого-то вот, настоящего-то, я ни за что не скажу»... (II, 586.) Неужели же тот интеллигент, которого коллективный Иван Ермолаевич ошарашил своим «не суйся» с присовокуплением некоторых недвусмысленных поступков, имеющих отношение к лопаткам, неужели этот интеллигент хотел утаить от Ивана Ермолаевича «настоящие» секреты? Быть не может! – Или, с другой стороны: неужели слегка и не без грации расколотые своекорыстные интеллигенты действительно совались к Ивану Ермолаевичу и потерпели неудачу только в силу своей расколотости? Невероятно!

И к какой из этих двух категорий «цивилизованных» людей относится условный период г. Михайловского: «будь его внутренний склад иной, он, может быть, и имел бы право и возможность соваться»? Неужели к расколотым первого рода? Или эта темная фраза относится к

той группе интеллигенции, которая уж, конечно, не думала скрывать какие бы то ни было «секреты», а, наоборот, стремилась раскрыть все ей известные? Но тогда вы сугубо неправы! Ведь весь трагизм в том и состоял, что она, эта группа, пыталась воплотить свое гуманство мыслей в соответственные общественные поступки, а Иван Ермолаевич встретил ее своим окриком. Какой же «иной внутренний склад» ей прописал бы для успеха г. Михайловский, раз причина неуспеха – хоть отчасти – лежала в ней, в этой горсти? О, г. Михайловский, г. Михайловский! Вы безнадежно запутались в сетях партизанских схваток, ибо давно утратили руководящую общественно-практическую идею, этот незаменимый компас публициста.

Успенский в характерном интеллигентском самообличительном увлечении взял всю вину на себя, – не как на лицо, а как на группу, – втоптал себя в грязь. Тут, на этом пункте, перед Успенским открывается покатая плоскость в сторону самого несостоятельного социального морализирования... Успенский «договаривается» до таких слов: «...я, русский образованный человек, я виновен самым решительным образом; я виновен тем, что до сих пор, 25 лет, не нашел в себе решимости по совести признать, что Иван Ермолаевич уже не крепостной, не раб, и что я, бывший барин, теперь завишу от него, хотя бы только потому, что его – миллионы, что теперь даже из желания нажиться я должен действовать так, чтобы удовлетворять насущным потребностям Ивана Ермолаевича. Я должен строить дорогу преимущественно в видах Ивана Ермолаевича, если хочу не быть его разорителем, я должен устраивать промышленное предприятие не иначе, как в видах, главным образом, миллионной массы, если, во-первых, не хочу разориться, а во-вторых, если стыжусь разорить. Но именно этого-то последнего я и не стыдился, и даже не стыжусь, пожалуй (?), и теперь. Напротив, я умышленно старался (!) его затмить, расстроить, не давал ему ни науки, ни земли, ни малейшего облегчения в труде. Я так знакомил его с цивилизацией, что он только кряхтел от нее. За всю эту искренность Иван Ермолаевич и наказывает меня тем, что начатое мною расстройство его быта практикует и в деревне, собственными руками разрушает то, на чем, если бы только я мог решительно стать на сторону устроения, а не разрушения, действительно можно бы создать крупное общинное хозяйство, в котором бы не было людей, не имеющих права на хлеб, и в котором нашел бы место работника (за деньги, не беспокойтесь!) и образованный человек». (II, 591 – 592; курсивы Успенского.) Горько и обидно, читатель, выписывать эту длинную цитату!..

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

«Каждая нежная душа черпает из его творений меланхолическую пищу».

2.

Gemuth – душа, душевность. – Ред.

3.

Esclave – раб. Ред.

4.

В. И. Семевский. «Крестьянский вопрос». Т. I, стр. 504.

5.

В. И. Семевский. «Крестьянский вопрос». Т. I, стр. 505.

6.

Н. Г. Чернышевский. «Очерки гоголевского периода русской литературы», 1893, стр. 250.

7.

Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя».

8.

Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя».

9.

Там же.

10.

Белинский. «Речь о критике А. Никитенко». (Курсив автора. Л. Т.)

11.

А: И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под редакцией Лемке. Петроград 1919 г. Ред.

12.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений. Т. XI. Петроград 1918 г. Ред.

13.

Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Ред.

14.

«Сочинения и письма Н. В. Гоголя». «Современник» N 8, 1857 г.

15.

«Русские писатели после Гоголя», 1886.

16.

См. в январской книге «Русской Мысли» за 1902 г. ст. Н. Н. Баженова: «Болезнь и смерть Гоголя».

**17.**

«Удивительная сила непосредственного творчества... – говорит Белинский, – много вредит Гоголю. Она, так сказать, отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит современность, и заставляет его преимущественно устремлять внимание на факты и довольствоваться объективным их изображением» («Объяснение на объяснение»).

**18.**

Белинский. «Горе от ума» – Ред.

**19.**

Белинский. «Русская литература в 1841 году». (Курсив автора.)

**20.**

«Объяснение на объяснение».

**21.**

Уважая литературную собственность, спешу заявить, что это не лишенное меткости определение принадлежит г. Подарскому, сотруднику «Русского Богатства». (На Невском проспекте, в д. № 40 помещалась редакция «Нового Времени». – Ред.)

**22.**

Г-н Белозерский говорит о гениальном художнике, воплотившем «молодое поколение» в Марке Волохове. Это непростительная клевета. Гончаров, этот аккуратный и умеренный бюрократ, до мозга костей лишенный какой бы то ни было общественной чуткости (это не противоречит факту наличности психологической чуткости: еще более резкий пример – Достоевский), унился до пасквиля, до карикатуры, и в Марке Волохове воплотил лишь собственное глубокое непонимание живой души объекта своего изображения. А затем: кто эти другие, созданные великими художниками 60-х годов нигилисты? Надо думать, герои романов Маркевича, Клюшникова и Лескова.

**23.**

См. следующую статью «Добролюбов и Свисток». Ред.

**24.**

Сатирическое приложение к журналу «Современник», выпускавшееся Н. А. Добролюбовым вместе с Н. А. Некрасовым с 1858 года. Ред.

**25.**

Из «лирических пьес» Добролюбова.

**26.**

«Мои желанья», с подзаголовком «Дикие желанья мои, и в стихах всю их дичь изложу я», «Свисток» № 7. По-видимому, запоздалые последователи Аполлона Капелькина забыли своего духовного отца?

**27.**

Один из псевдонимов Добролюбова в «Свистке».

**28.**

Он сам, в одном из своих частных писем, говорит о себе как о потенциальном общественном памфлетисте...

**29.**

«Свисток» N 8. Ad se ipsum.

**30.**

«Сочинения», изд. Ф. Павленкова.

**31.**

Статья об Успенском (часть большой и до сего дня незаконченной работы) была напечатана в 1902 году в журнале «Научное Обозрение». В тот период слово марксизм и имя Маркса были строго изгнаны из легальной печати. Приходилось говорить обиняками. Читатель должен все время иметь в виду это обстоятельство. Л. Т.

**32.**

«Смутью» назвал Н. К. Михайловский эпоху появления марксистов в легальной публицистике, декадентов – в поэзии.

**33.**

Н. Бельтов (Г. В. Плеханов). «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Ответ гг. Михайловскому, Карееву и К<sup>о</sup>». СПб. 1895.

**34.**

Когда касаешься этого обстоятельства, невольно вспоминается рассказ о том, как при дворе одного из русских царей был посажен куст и для охраны этого куста поставлен часовой. Год приходил на смену году, куст превратился в дерево, часовой сменял часового... Дерево состарилось, засохло и, наконец, превратилось в «ничто», земля, питавшая некогда его корни, сравнялась, уничтожив самые следы его существования, а часовой и по сей день сменяет часового по правилам воинского устава, ревниво охраняя пункт, где некогда был все же августейший куст, а ныне – увы! – пустое место...

**35.**

«Успенский склонен ставить поднимающиеся в нем, под напором жизни, вопросы ребром, „бесстрашно“ и без соображения с какими бы то ни было доктринерскими мерками („формулами прогресса“. Л. Т.), доводя известную мысль до самого крайнего ее логического конца, чтобы вслед затем так же бесстрашно произвести эту самую операцию над другою, может быть, прямо противоположною мыслью». («Русское Богатство», 1900 г., XII, 167. Курсив мой. Л. Т.)

**36.**

(«Русское Богатство», 1900, XII, 163.) Г-н Михайловский все «мимоходом»: пощечет и дальше. И куда он так торопится? Речь идет об Успенском, вопрос затронут основной: отношение мужицкой психики к мужицкой экономике. Г-ну Михайловскому известно, что «легкомысленное отношение к серьезным вещам всегда непозволительно», и кроме того, что «писания Успенского требуют особенно вдумчивого внимания» (там же, 167). Это



не помешало, однако, г. Михайловскому, как мы сейчас покажем, в своем олимпийском «мимоходом» проявить по отношению к серьезнейшему вопросу писаний Успенского беззаботнейшее легкомыслие, нимало не стесненное путами «вдумчивого внимания».

**37.**

Совершенно с равным успехом г. Михайловский мог бы построить такое рассуждение. Один из героев Успенского вполне, мол, точно отмечает следующее свое наблюдение: «Кормиться надо... Душа просит прокорму» («Тише воды, ниже травы»). Известно, что потребность в прокорме, – мог бы пояснить г. Михайловский, – лежащая в основе всей экономической деятельности человека, сама по себе не есть явление экономическое. Следовательно...

**38.**

Курсив Успенского; неоговоренные курсивы – мои. Л. Т.

**39.**

В скобках слова Успенского; курсив мой. Л. Т.

**40.**

Не можем сделать ничего лучшего, как отослать читателя к самому Успенскому, преимущественно к следующим очеркам, представляющим наиболее зрелые плоды его творчества: «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров их с приятелями». (II. 519 – 718.)

**41.**

И. И. Каблиц (Юзов) – публицист-народник 70-х годов прошлого века. В «Основах народничества» восставал против притязаний интеллигенции навязывать народу новые формы быта. Такие писатели, как Михайловский, были в его глазах «либеральные будочники».

**42.**

См., напр., т. II, стр. 611.

**43.**

Курсив Успенского.

**44.**

Очень поучительно, что в тех случаях, когда Успенский-материалист склоняется пред Успенским-утопистом, изображенная выше деревенская косность фигурирует под симпатичным именем «устойчивости» земледельческой жизни. (См. т. II, стр. 712 – 713.)

**45.**

Курсив мой, остальные курсивы Успенского. Л. Т.

**46.**

Л. Н. Толстой. «Война и Мир». Ред.